

Федор Достоевский

Подросток



Федор Достоевский

Подросток

«Public Domain»

1875

Достоевский Ф. М.

Подросток / Ф. М. Достоевский — «Public Domain», 1875

«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и “случайность” свою...» В 1875 году в первых номерах «Отечественных записок» Достоевский публикует свой новый роман «Подросток». В исповеди Аркадия Долгорукого, Подростка, анализируется сложный процесс становления личности в «безобразном», утратившем нравственные ценности мире, в обстановке «всеобщего разложения» и распада устоев общества... Вместо предисловия вниманию читателя предлагается эссе Стефана Цвейга «Достоевский» из книги «Три мастера», впервые опубликованное в 1919 году.

Содержание

Достоевский. (Из книги «Три мастера»)	5
Созвучие	5
Облик	7
Трагедия его жизни	8
Значение его судьбы	15
Герои Достоевского	22
Реализм и фантастика	30
Зодчество и страсть	38
Переступающий границы	45
«Искание бога»	50
Vita triumphatrix[13]	57
Часть первая	59
Глава первая	59
Глава вторая	69
Глава третья	81
Глава четвертая	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Федор Достоевский

Подросток

Достоевский. (Из книги «Три мастера»)

*В вечной недовершенности – твое величие.
Гете. Западнорославный диван*

Созвучие

Трудное и ответственное дело – достойными словами говорить о Федоре Михайловиче Достоевском и его значении для нашего внутреннего мира, ибо ширь и мощь этого неповторимого человека требуют новых мерок.

Приближаясь к нему впервые, мы рассчитываем найти законченное произведение, поэта, но открываем безграничность, целое мироздание с вращающимися в нем светилами и особей музыкой сфер. Ум теряет надежду когда-либо проникнуть до конца в этот мир: слишком чуждой кажется нам при первом познании его магия, слишком далеко уносит в беспредельность его мысль, неясно его назначение, – и душа не может свободно любоваться этим новым небом, как родным. Достоевский – ничто, пока он не воспринят внутренним миром. В сокровеннейших глубинах мы должны испытать собственную силу сочувствия и сострадания и закалить ее для новой, повышенной восприимчивости: мы должны докопаться до последних корней нашего существования, чтоб обнаружить нити, связующие нас с его как будто фантастической и в то же время такой подлинной человечностью. Только там, в самых тайных, в вечных и неизменных глубинах нашего бытия, где сплетаются все корни, можем мы надеяться отыскать связь с Достоевским; ибо чуждым кажется внешнему взору этот русский ландшафт, не исхожены здесь пути, подобно степям его родины; и как мало в этом мире от нашего мира! Ничто не ласкает здесь взор, редко манит к отдыху спокойный час. Прорезаемый молниями мистический сумрак чувства чередуется с холодной ясностью ума; вместо согревающего солнца в небе пылает таинственное, истекающее кровью северное сияние. В первобытный ландшафт, в мистическую область приводит нас древний и девственный мир Достоевского, и вызывает он сладостный страх приближения к вечным стихиям. Но едва успеет остановиться здесь доверчивый восторг, как к потрясенному сердцу подкрадывается предостерегающее предчувствие: здесь нельзя остаться навсегда; надо вернуться в наш более теплый, более уютный, но в то же время более тесный мир. И в смущенье сознаешь: слишком величествен для обыденного взора этот бронзовый ландшафт, слишком тяжел для трепещущих легких то ледяной, то пламенный воздух. Душа стремилась бы унести от величия этого ужаса, если бы не простиралось, сияя звездами, над неумолимо трагическим, ужасающе земным ландшафтом безграничное небо благодати, небо, расстилающееся и над нашим миром, но в этой атмосфере жестокой духовной стужи уходящее в беспредельность выше, чем в наших теплых странах. Подымаясь от этого ландшафта к его небу, успокоенный взор находит бесконечное утешение в бесконечной земной печали и предчувствует в страхе – величие, Бога – во тьме.

Только такое прозрение в глубочайший смысл творчества Достоевского может превратить наше благоговение перед ним в пламенную любовь; только проникновенное созерцание его своеобразия может нам раскрыть истинно братское, всечеловеческое начало в этом русском человеке. Но как крут, как труден спуск в лабиринт сердца этого гиганта! Могущественное в своем просторе, пугающее своей ширию, это неповторимое создание становится тем таинствен-

нее, чем больше мы стараемся проникнуть из его беспредельной шири в его беспредельную глубь. Ибо везде оно насыщено тайной. От каждого созданного им образа спускается тропа в демонические пропасти земного, каждый полет в область духа касается крылом Божьего лика. За каждой стеной его творения, за каждым обликом его героев, за каждой складкой его облаченья расстилается вечная ночь и сияет вечный свет; ибо назначением своей жизни и направлением своей судьбы Достоевский крепко связан со всеми мистериями бытия. Между смертью и безумием, между мечтой и жгуче отчетливой действительностью стоит его мир. Повсюду его личная проблема граничит с неразрешимой проблемой человечества, каждая освещаемая им поверхность отражает бесконечность. Как человек, как поэт, как русский, как политик, как пророк, – всегда его существо излучает вечную идею. Ни одна дорога не приводит к краю, ни один вопрос – ко дну пропасти его сердца. Лишь преклонение смеет коснуться его, – смиренное преклонение, смешанное со стыдом, – ибо оно меньше того любовного благоговения, которое ощущал он сам перед мистической сущностью человека.

Сам Достоевский не пошевелил пальцем, чтобы приблизить нас к себе. Другие строители великих созданий нашей эпохи не скрывают своей воли. Вагнер снабдил свое творение программными объяснениями, полемическими оправданиями; Толстой раскрыл все двери своей обыденной жизни, удовлетворяя любопытство каждого, давая ответ на любой вопрос. Но он, Достоевский, раскрывал свое намерение лишь в законченном произведении, – свои планы он сжигал в огне творчества. Всю жизнь он был молчалив и робок. И даже его физическое существование представляется как бы не вполне доказанным. Лишь в юности он имел друзей, – в зрелом возрасте он был одинок: отдаваться единичной личности казалось ему умалением любви ко всему человечеству. И письма его говорят лишь о житейских потребностях, о муках страдающего тела; уста их замкнуты, несмотря на то, что все они – одна жалоба и крик нужды. Долгие годы – все его детство – окружены мраком, и уже сейчас тот, чей пламенный взор встречали наши старшие современники, стал как человек бесконечно далеким, почти сверхчувственным, легендой, героем и святым. Этот полумрак действительности и загадочности, окружающий возвышенные облики Гомера, Данте и Шекспира, делает и его образ как бы неземным. Не по документам, а лишь силой проникновенной любви можно воссоздать его судьбу.

Итак, без проводника приходится искать пути в этом лабиринте, сматывая нить Ариадны – души – с клубка собственной жизни и страсти. Ибо, чем глубже мы проникаем в его душу, тем глубже мы погружаемся в самих себя. Только дойдя до нашей общечеловеческой сущности, приблизимся мы к нему. Кто знает многое о себе, многое знает и о том, кто был высшим мерилом всего человеческого. И путь к его творчеству ведет через чистилище страсти, через ад пороков, проходит по всем ступеням земных страданий: страданий человека, страданий человечества, страданий художника и, наконец, самых жестоких страданий – страданий религиозных. Мрачен этот путь, и душа должна пылать страстью и любовью к истине, чтобы не заблудиться на нем: мы должны спуститься в собственные недра прежде, чем осмелиться проникнуть в его глубины. Он не посылает вестников, – только переживание сближает с Достоевским. И нет о нем других свидетельств, кроме мистического триединства в духе и во плоти: его облика, его судьбы и его творений.

Облик

Его лицо на первый взгляд представляется лицом крестьянина. Морщинаются землистые, впалые, будто грязные щеки, изборожденные долголетними страданиями; трещинами испещрена сухая опаленная кожа, усеянная впадинами, обескровленная и обесцвеченная вампиром двадцатилетнего недуга. Справа и слева, будто каменные глыбы, выдаются славянские скулы; суровый рот и хрупкий подбородок скрыты за диким кустарником бороды. Земля, скалы и лес; трагический стихийный ландшафт, – вот глубины его лица. Все мрачно, обыденно и лишено красоты в этом лице крестьянина, чуть ли не нищего; плоское и бесцветное, оно мерцает без блеска, – отрезок русской степи, усеянной валунами. И даже глубоко сидящие глаза не могут из своей бездны осветить эту рыхлую глину: пламя их острого взора не выбивается с яркой и ослепляющей силой наружу, а словно обращено внутрь, чтобы изнурять и разжигать кровь. Когда они смежаются, смерть покрывает это лицо, и нервный подъем, оформлявший дряблые черты, сменяется бездушной летаргией.

Подобно его творчеству, из хоровода чувств вызывает этот облик ужас; робость сменяет его; но растет очарование, – и страстно нарастает преклонение перед ним. Ибо лишь низменность его лица, земная и плотская, дремлет в этой мрачно-возвышенной стихийной печали: подобно куполу, подымается над узким крестьянским лицом сияющая белизной, выпуклая, взлетающая возвышенность лба; из тени и мрака – стройный и светлый духовный храм; твердый мрамор над мягкой глиной плоти; дикая заросль волос. Вся лучезарность этого лика струится ввысь; вглядываясь в его портрет, видишь лишь широкий, могучий, величественный лоб, и, будто, все шире становится его простор, все ярче его сияние, по мере того как стареющее лицо меркнет и чахнет от болезни. Неколебимо, как небесный свод, высится он над тленностью плоти, – величие духа над скорбью земли. И ни на одном портрете не сияет эта святая обитель победоносного духа величественнее, чем на портрете, снятом на смертном одре, когда веки бессильно опустились на помутневшие глаза, и поблекшие, бескровные руки крепко и жадно обхватили крест (то бедное деревянное распятие, которое когда-то подарила крестьянка каторжнику). Он освещает лик усопшего, как утреннее солнце ночной ландшафт, и своим сиянием подает ту же весть, что и все его творения: дух и вера освободили его от тусклой и низменной плотской жизни. В последней глубине кроется последнее величие Достоевского, – и никогда лик его не был выразительнее, чем в смерти.

Трагедия его жизни

Non vi si pensa quanto sangue costa.¹

Dante

Первое впечатление от Достоевского – ужас, следующее – величие. И судьба его на первый взгляд так же представляется жестокой и обыденной, как лицо его крестьянским и простым. Сперва вы ощущаете ее как бессмысленное страдание: все орудия пытки терзают шестьдесят лет это хрупкое тело. Рубанок нужды скоблит его молодость и старость, пила физических страданий впиивается в его кости, бурав лишений немилосердно сверлит его жизненный нерв, раскаленные проволоки нервов заставляют беспрестанно трепетать все члены, острые шипы сладострастия ненасытно возбуждают его страсть. Ни от одного мучения он не избавлен, ни одно страдание не забыто. Бессмысленной жестокостью, олицетворением слепой злобы представляется на первый взгляд эта судьба. Лишь оглядываясь назад, постигаешь, что ее выковывал безжалостный молот, чтобы создать бессмертное творение: ей нужна была мощь, чтобы сравняться с могучим. Не общей мерой отмеривает она безмерному свои дары, ни в чем его жизненный путь не похож на гладко вымощенную широкую дорогу других писателей девятнадцатого столетия, постоянно чувствуется стремление сурового божества – подвергнуть сильного сильнейшим испытаниям. Ветхозаветной, героической и вовсе не современной, не буржуазной представляется судьба Достоевского. Вечно он должен бороться с ангелом, как Иаков, восставать против Бога, и вечно смиряться, как Иов. Она не разрешает ему жить беспечно, лениво, – вечно он должен ощущать присутствие любящего и потому карающего Бога. Ни минуты он не может отдохнуть, наслаждаясь счастьем: путь его уходит в беспредельность. Иногда словно утихает гнев его судьбы, как будто она дает ему, как и всем другим, идти обычной жизненной дорогой, но каждый раз снова протягивается могучая рука и толкает его обратно в чашу колющих шипов. Если судьба взмечает его ввысь, то лишь для того, чтобы ввергнуть в еще более глубокую пропасть, чтобы он познал всю мощь экстаза и отчаяния; она возносит его к высям надежд, где другие бессильно растекаются в сладострастии, и низвергает в бездну страданий, где все другие погибают от боли; и так же, как Иова, она поражает его в минуты самой стойкой уверенности, лишает его жены и ребенка, обременяет болезнью и бичует презрением, чтобы он не прерывал своего состязания с Богом и, в непрестанном мятеже и непрестанной надежде, все более приближался к нему. Можно подумать, что эта эпоха холодных людей избрала его одного, чтобы показать, какие исполинские возможности наслаждения и страдания еще доступны нашему миру, и он, Достоевский, как будто смутно ощущает витающую над ним могучую волю. Ибо никогда он не сопротивляется своей судьбе, никогда его рука не сжимается в кулак. Больное, хилое тело конвульсивно бьется в судорогах; из его писем иногда, точно кровоизлияние, вырывается горячий вопль, но дух и вера подавляют возмущение. Мистической мудростью Достоевский постигает святость этой воли, трагически плодотворный смысл своей судьбы. Из его страданий произрастает любовь к страданию, и мудрым жаром своих мучений он воспламеняет свою эпоху, свой мир.

Трижды возносит его жизнь к небесам, трижды низвергает его в пропасть. Уже в молодости он вкушает сладкое блюдо славы: первая книга дает ему имя; но быстро схватывают его острые когти судьбы и снова бросают в неизвестность – в тюрьму, на каторгу, в Сибирь. Снова он вынырнул, более сильным, более мужественным: его «Записки из Мертвого дома» приводят Россию в восторг. Сам царь обливает книгу слезами; она воспламеняет русскую молодежь. Он основывает свой журнал, его голос звучит для всего народа, появляются первые романы.

¹ Нельзя представить себе, сколько это стоит крови.

Но вот словно буря уносит его материальное благосостояние, плеть долгов и забот гонит его с родины, болезнь поражает его тело; кочуя, бродит он по всей Европе, забытый своим народом. И в третий раз, после долгих лет труда и лишений, он вынырнул из тумана безвестности: речь на Пушкинских торжествах свидетельствует о нем как о первом писателе, пророке страны. Отныне слава его неугасима. И в эту минуту железная рука уничтожает его, и восторженное поклонение народа беспомощно бьется у его гроба. Он больше не нужен судьбе, жестокая, мудрая воля добилась своего: сорвав с его существования лучшие духовные плоды, она небрежно отбрасывает в сторону пустую оболочку тела.

Благодаря этой мудрой жестокости жизнь Достоевского становится произведением искусства, его биография – трагедией. И в чудесной символике его художественные произведения повторяют характерные черты его собственной судьбы. Тут есть таинственные совпадения, мистические сцепления, удивительные отражения, которые нельзя ни понять, ни объяснить. Уже вступление его в жизнь символично: Федор Михайлович Достоевский родился в больнице для бедных. Первый час существования уже намечает место его в жизни – где-то в стороне, в презрении, близ подонков общества – и все же в гуще человеческих судеб, по соседству с муками, страданиями и смертью. И до последнего дня (он умер в рабочем квартале, в нищенской квартире на четвертом этаже) он оставался в этом окружении. Все шестьдесят тяжелых лет своей жизни он проводит на дне жизни, в соседстве с горем, бедностью, болезнью и лишениями. Его отец, как и отец Шиллера, – военный врач, по происхождению дворянин; в жилах его матери течет крестьянская кровь. Оба источника русской народности плодотворно соединяются в нем. Строго религиозное воспитание уже с раннего возраста обращает его чувственность в экзатичность. Там, в московской больнице, в тесном чулане, который он разделял с братом, провел он первые годы своей жизни. Первые годы; не осмеливаешься сказать – детство: это понятие как-то затерялось в его жизни. Он никогда не говорил о нем, а молчание Достоевского всегда было плодом стыда или гордой боязни чужого сострадания. В его биографии серое пустое пятно там, где обычно у поэтов возникают пестрые улыбочивые картины, нежные воспоминания и сладостное сожаление. И все же как будто узнаешь об его детстве, заглядывая глубже в горящие глаза созданных им детских образов. Вероятно, подобно Коле, он был рано развившимся ребенком, с живым, доходящим до галлюцинаций воображением; так же был он полон пламенного, трепетного стремления стать великим, так же охвачен необычайным, полудетским, фанатическим желанием перерасти себя и «пострадать за всех людей». Как маленькая Неточка Незванова, был он до краев наполнен любовью и в то же время истерическим страхом перед обнаружением ее. И как Илюша, сын пьяного штабс-капитана, он стыдится домашнего убожества и скорби лишений и вместе с тем всегда готов защищать своих близких перед людьми.

И когда юношей он выходит из этого мрачного мира, от детства уже не осталось следа. Он ищет утешения в пристанище всех униженных, в убежище всех обездоленных – в пестром и опасном мире книг. Он бесконечно много читал тогда вместе с братом, день за днем, ночь за ночью, – уже в ту пору он, ненасытный, доводил всякое влечение до порока, – и этот фантастический мир еще больше отдалял его от действительности. Полный пламенной любви к человечеству, он до болезненности нелюдим и замкнут. Лед и пламень в одно и то же время, он был фанатиком сурового одиночества. Его страсть смутно блуждает в эти годы «в подпольи»; он изведal все темные пути и распутья; но всегда он оставался одинок; сжав губы, с отвращением он предавался разврату, и наслаждению – с сознанием своей вины. Из-за материальной нужды он вступает в армию: и там он не находит друга. Проходит несколько тусклых юношеских лет. Как герои всех его произведений, в темном углу он влачит существование троглодита, мечтая, размышляя, отдаваясь всем тайным порокам мысли и чувств. Его честолюбие еще не пробудилось, он прислушивается к себе и накапливает мощь. Со сладострастием и с затаенным страхом он ощущает ее скрытое дрожание в глубине своего существа; он любит ее и боится

в то же время; он не смеет шевельнуться, чтобы не помешать ее созреванию. Несколько лет он пребывает, будто в коконе, в этой мрачной, бесформенной стадии развития, в одиночестве и в молчании; он становится ипохондриком, его охватывает мистический страх перед смертью, ужас – иногда перед миром, иногда перед собой – могучий трепет перед хаосом собственной души. По ночам он занимается переводами, чтобы привести в порядок свою тощую кассу (деньги расходились у него – и это очень характерно – на удовлетворение двух противоположных влечений – на милостыню и распутство). Бальзаковская Эжени Гранде и шиллеровский Дон-Карлос. Тусклый чад этих дней медленно сгущается в определенные формы, и наконец в этом туманном, полусонном состоянии страха и экстаза созревает его первое художественное произведение, небольшой роман «Бедные люди».

В 1844 году, двадцати четырех лет, он написал этот мастерский этюд о людях, – он, самый одинокий человек, – «со страстью, почти со слезами». Его глубочайшим унижением – бедностью – рождена эта повесть; его величайшей силой она одарена – любовью к страданию и безграничной способностью к состраданию. С недоверием он смотрит на исписанные листки. Он предчувствует в них вопрос о своей судьбе и решение этого вопроса; с трудом он заставляет себя доверить рукопись для просмотра поэту Некрасову. Два дня проходят без ответа. Одинок, погруженный в раздумье, сидит он ночью дома. Вдруг в четыре часа утра раздается резкий звонок, и Некрасов бросается в объятия удивленно открывающему дверь Достоевскому, целует и поздравляет его. Он прочитал рукопись с одним из своих друзей; всю ночь они слушали, радовались и плакали; они не могли удержаться; они должны были его обнять. Этот ночной звонок – первый миг в его жизни, призывающий к славе. До позднего утра друзья обмениваются горячими словами счастья и восторга. И Некрасов мчится к Белинскому, всемогущему русскому критику. «Новый Гоголь явился», – кричит он еще в дверях и машет рукописью, точно флагом. «У вас Гоголи-то как грибы растут», – недоверчиво ворчит рассерженный таким восторгом Белинский. Но когда Достоевский посетил его на следующий день, он преобразился. «Да вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали?» – взволнованно крикнул он смущенному молодому человеку. Ужас охватывает Достоевского – сладостный трепет перед этой новой внезапной славой. В упоении он спускается с лестницы и, шатаясь, останавливается на углу. В первый раз он ощущает, не смея этому поверить, что все то мрачное и грозное, что волновало его душу, все это – проявление могущественной силы, – быть может, того «прекрасного и высокого», что смутно грезилось ему в детстве, – бессмертия, страдания за весь мир. Упоение и сокрушение, гордость и унижение смущают его душу; он не знает, какому голосу поверить. Опьяненный, он бродит по улицам и плачет слезами счастья и скорби.

Так мелодраматично совершается обнаружение в Достоевском поэта. И тут форма его жизни таинственно подражает форме его произведений. Тут и там в резких контурах чувствуется примесь банальной романтики романов ужаса, в ударах судьбы – что-то примитивно-детское, и лишь внутренняя мощь и правда поднимают их до величия. В жизни Достоевского многое начинается мелодрамой, но всегда кончается трагедией. Все зиждется на напряжении: развязки, без перехода, сжимаются в отдельные мгновения, десятью или двадцатью такими мгновениями экстаза или срыва определяется вся его судьба. Это можно было бы назвать эпиплептическими припадками жизни – миг экстаза и беспомощное падение. За каждым экстазом угрожающе стоит серая мгла расслабления чувств, и в нависающих тучах медленно сгущается новый убийственный удар жизненной молнии. Каждый подъем оплачен падением, и каждый благосклонный миг – многими часами безнадежного рабства и отчаяния. Слава, блестящий венец, в тот час возложенный Белинским на его чело, в то же время был первым звеном громышающей цепи, на которой Достоевский всю жизнь влачит тяжелый груз труда. «Белые ночи» – последняя вещь, которую он создал как свободный человек, ради восторга творчества. Творить с этих пор значит для него: зарабатывать, возвращать, выплачивать, – ибо каждое начатое им произведение уже с первой строки заложено благодаря авансам; еще не рожденное

дитя продано в кабалу ремесла. Навсегда он замурован в темнице литературы; целую жизнь раздаются отчаянные мольбы заключенного об освобождении; но лишь смерть расковывает его цепи. Начинающий писатель еще не предчувствует в первой радости грядущих мучений. Быстро заканчивает он несколько рассказов и уже задумывает новый роман.

Но вот судьба грозно подымает перст. Его бдительный демон не хочет, чтобы жизнь стала для него слишком легка. И, чтобы он познал ее во всей глубине, любящий его Бог посылает ему испытание.

Так же, как и тогда, раздается ночью звонок. Достоевский удивленно открывает дверь, – но не голос жизни, не торжествующий друг, не весть о славе встречает его на этот раз, а зов смерти. Офицеры и жандармы врываются в комнату, встревоженного писателя арестуют, его бумаги опечатывают. Восемь месяцев он томится в каземате Петропавловской крепости, не зная, какое преступление ему вменяют в вину; горячие споры в обществе нескольких друзей, названные громким именем «заговора Петрашевского», – вот все его преступление; его арест – плод недоразумения. И все же внезапной молнией ударяет приговор – высшая кара – расстрел.

Снова сжимается его судьба в одно мгновение, самое краткое, самое богатое в его жизни, – бесконечное мгновение, когда смерть и жизнь протягивают друг другу губы для жгучего поцелуя. На рассвете вместе с товарищами привозят его из крепости на Семеновский плац, накидывают на него мешок, прикручивают к столбу и завязывают глаза. Он слышит чтение смертного приговора, гремят барабаны; его судьба втиснута в горсть ожидания, бесконечное отчаяние, бесконечная жажда жизни – в одну-единственную молекулу времени. Но вот офицер подымает руку, машет белым платком и оглашает помилование: смертная казнь заменена тюремным заключением в Сибири.

С высоты первой юной славы он низвергается в пропасть безвестности. В течение четырех лет полторы тысячи дубовых столбов обмежевывают его горизонт. На них он знаками и слезами, день за днем, отмечает четырежды повторяющиеся триста шестьдесят пять дней. Его товарищи – преступники, воры и убийцы: его работа – шлифовка алебаstra, таскание кирпичей и уборка снега. Евангелие – единственная книга; паршивая собака и раненый орел – его единственные друзья. Четыре года он проводит в «Мертвом доме», в преисподней, – тень между тенями, безымянный, забытый. Когда, наконец, сняли кандалы с его израненных ног и остались за спиной столбы тюремного забора, – он уже стал иным: его здоровье разрушено, слава распылена, жизнь загублена. Лишь воля к жизни осталась непоколебленной и непоколебимой: ярче прежнего пылает в тающем воске его измученного тела горячее пламя экстаза. Еще несколько лет он должен оставаться в Сибири, полусвободный, без права напечатать хотя бы строчку. Там, в ссылке, в суровом отчаянии и одиночестве, он вступает в странный брак с первой женой, больной и своеобразной женщиной, которая нехотя отвечает на его участие и любовь. В этом решении навсегда сокрыта от любопытства и благоговения какая-то трагедия самопожертвования; лишь по некоторым намекам в «Униженных и оскорбленных» можно угадать молчаливый героизм этого фантастического жертвоприношения.

Забытый, он возвращается в Петербург. Его литературные покровители покинули его, друзья разбрелись. Но из налетевшего на него шторма он выплыл мужественным и сильным. Его «Записки из Мертвого дома», эти неувядаемые очерки тюремного периода его жизни, вырвали Россию из летаргии равнодушного созерцания. С ужасом общество узнает, что в ближайшем соседстве с ним, под тонким пластом его спокойного мира существует другой мир: чистилище, мир мучений. Искра обвинения долетает до Зимнего дворца, царь рыдает над книгой, тысячи уст произносят имя Достоевского. В один год его слава восстановлена; она стала громче и прочнее, чем прежде. Возрожденный, он, вместе с братом, основывает журнал и сам заполняет его почти целиком; поэт становится проповедником, политиком, «praeseptor

Russiae».² Громко откликается эхо, журнал получает огромное распространение, Достоевский заканчивает роман; коварно подмигивая, манит его счастье. Судьба его, казалось, упрочена навсегда.

И еще раз мрачная воля, руководящая его жизнью, подымает свой голос: «Еще рано». Ибо одна земная мука еще не испытана им – мука изгнания и гложущего страха ежедневных, жалких забот о пропитании. Сибирь и каторга, самая ужасная гримаса России, все же была родиной; теперь же, во имя великой любви к своему народу, он должен испытать тоску кочевника по шалашу. Еще раз он должен вернуться в неизвестность, еще глубже окунуться во мглу, прежде чем стать поэтом, глашатаем своего народа. Снова ударила молния, грянул миг разрушения; журнал запрещен. Снова недоразумение, еще убийственнее первого. И теперь удар сыплется за ударом; ужас врывается в его жизнь. Умирает его жена, вслед за ней брат – его лучший друг и помощник. Свинцовой тяжестью ложатся на него долги двух семей, и его спина сгибается под невыносимой ношей. Он еще борется из последних сил, лихорадочно работает день и ночь, пишет, сам издает, чтобы сберечь деньги, спасти честь, возможность существования, – но судьба сильнее его. Как преступник, однажды ночью скрывается он от своих кредиторов и отправляется в мир.

И вот начинается длящееся годами бесцельное блуждание по Европе, ужасная оторванность от России, от источника его жизненных сил, – оторванность, терзающая его душу сильнее, чем столбы каторги. Страшно подумать, как величайший русский писатель, гений своего поколения, вестник беспредельности, – без средств, без родины, без цели бродит из страны в страну. С трудом он находит себе убежище в маленьких низких комнатах, наполненных испарениями нищеты, демон эпилепсии дергает его нервы, долги, векселя, обязательства гонят его от работы к работе, нужда и стыд – из города в город. Едва сверкнет луч счастья в его жизни, как тотчас же судьба нагоняет новые тучи. Молодая девушка, его стенографистка, стала его второй женой, но первый ребенок, которого она ему подарила, угасает на чужбине от изнурения через несколько дней после рождения. Если Сибирь была для него чистилищем, преддверием его страданий, то Франция, Германия, Италия, без сомнения, были его адом. Не хватает мужества представить себе эти страдания. Но когда в Дрездене я прохожу по улице мимо какого-нибудь низкого, грязного дома, меня преследует мысль: не жил ли он где-нибудь здесь, среди мелких саксонских торговцев и подмастерьев, наверху, в четвертом этаже, одиноко, бесконечно одиноко в этой чуждой ему сутолоке? Никто не знал его во все эти годы. В Наумбурге, на расстоянии часа езды, живет Фридрих Ницше, единственный, кто мог бы его понять; Рихард Вагнер, Геббель, Флобер, Готфрид Келлер, все они, его современники, тут, – но он не знает о них, и они не знают о нем. Как лесной зверь, растрепанный, в поношенной одежде, осторожно выползает он из своей рабочей норы на улицу и крадется все по той же дороге – в Дрездене, в Женеве, в Париже: в кафе, в какой-нибудь клуб, чтобы прочесть русские газеты. Он жаждет ощутить Россию, родину, бросить взгляд на буквы кириллицы, вдохнуть мимолетный аромат родного слова. Иногда он присаживается в Галерее,³ не в силу любви к искусству (он всю жизнь оставался византийским варваром, иконоборцем), а только для того, чтобы обогреться. Он ничего не знает об окружающих его людях, он их ненавидит, потому что они не русские, – ненавидит немцев в Германии, французов во Франции. Его сердце прислушивается к России, и только тело его безучастно прозябает в этом чуждом ему мире. Ни один французский, немецкий, ни один итальянский поэт не мог бы рассказать о разговоре, о встрече с ним. Его знают только в банке, где он, бледнея, ежедневно подходит к конторке и дрожащим от волнения голосом спрашивает, не прибыл ли, наконец, перевод из России, какие-нибудь сто рублей, из-за которых он тысячу раз унижался перед низкими и чуждыми ему людьми. Служащие уже потеша-

² Наставником России.

³ Подразумевается Дрезденская картинная галерея. – *Прим. пер.*

ются над бедным глупцом и его вечным ожиданием. И в ломбарде знают его как постоянного посетителя; он заложил там все – даже последнюю пару брюк, чтобы послать в Петербург телеграмму – потрясающий вопль, звучащий чуть ли не во всех его письмах. Сердце сжимается, когда читаешь льстивые, собачьи покорные письма великого человека, в которых он должен пять раз вызывать к спасителю, чтобы выпросить десять рублей, – ужасные письма, задышающиеся, вопящие, молящие о жалкой горсточке денег. Он работает и пишет ночи напролет: в то время как жена терпит родовые муки, эпилепсия вонзает в него свои когти, хозяйка грозит полицией из-за квартирной платы, и акушерка требует вознаграждения, – он пишет «Преступление и наказание», «Идиота», «Бесов», «Игрока», эти грандиозные создания девятнадцатого века, всеобъемлющие отражения нашего душевного мира. В работе – его спасение и его мука. В ней он переносится в Россию, на родину. Без работы он томится в Европе, на своей каторге. Все глубже он зарывается в творчество. Оно служит ему пьянящим эликсиром, игрой, напрягающей его измученные нервы до высшей улады. И в промежутке он жадно считает дни, как некогда столбы тюремного забора: вернуться на родину, хоть нищим, только бы вернуться! Россия, Россия, Россия! – вечный крик его горя. Но он еще не может возвратиться: безымянный, он должен еще пребывать в неизвестности, во имя творчества, – одинокий страдалец, без воплей и жалоб шагающий по чуждым ему улицам. Он должен еще пресмыкаться на дне жизни, прежде чем вознестись к великолепию вечной славы. Его плоть истерзана лишениями, все чаще недуг, словно ударами молота, поражает его мозг, и целыми днями он лежит в оцепенении, с затуманенной головой, чтобы при первом проблеске восстановления сил, шатаясь, брести к письменному столу. Достоевскому пятьдесят лет, но он пережил муки тысячелетий.

И наконец, в последний, самый мучительный миг его судьба промолвила: «Довольно». Бог снова дарует свою милость Иову: в пятьдесят лет Достоевский может вернуться в Россию. Его книги сделали свое. Он заслониł Тургенева и Толстого. Взоры России обращены на него. «Дневник писателя» делает его глашатаем народа; последние силы и высшее искусство он вкладывает в свое завещание грядущим поколениям – в «Карамазовых». Теперь, когда он перенес все испытания, его судьба раскрывает ему свое значение; она дарит ему миг величайшего счастья, указывающий, что семя его жизни принесло урожай в беспредельности. Наконец, наступило в жизни Достоевского мгновение, насыщенное торжеством и равное некогда пережитому им мгновению нечеловеческой муки; опять его Бог ниспослал ему молнию, – но на этот раз не уничтожающую, а возносящую его, подобно пророку, на пламенной колеснице в вечность. Великие русские писатели были приглашены произнести речи на открытии памятника Пушкину. Тургеневу, западнику, писателю, который целую жизнь похищал славу Достоевского, принадлежит первенство; он говорит при холодном, почтительном одобрении. На следующий день предоставлено слово Достоевскому, и в неистовом опьянении он ударяет им, как молнией. С пламенным экстазом, прорывающимся, подобно буре, сквозь тихий, хриплый голос, он провозглашает священную миссию России – миссию всечеловечности. Слушатели, точно скошенные, склоняются перед ним. Зал содрогается от ликования, женщины целуют ему руки, студент падает перед ним в обморок, остальные ораторы отказываются от слова. Восторг растет безгранично, и сияние разгорается ярким пламенем над челом в терновом венце.

Такова воля его судьбы: в мгновенной вспышке показать осуществление его миссии, торжество его творчества. И теперь, когда плод спасен от гибели, она уничтожает иссохшую оболочку его тела. 9 февраля 1881 года Достоевский умирает. Трепет охватывает Россию. Миг безмолвной печали. И вслед за ним, одновременно и без предварительного уговора, стекаются депутаты, чтобы отдать ему последний долг. Из всех углов тысячедомного города являются – увы! слишком поздно – восторженные доказательства любви, все хотят видеть мертвого, о котором забывали почти всю его жизнь. Кишит людьми Кузнечный переулок, сумрачные толпы плывут в трепетном молчании по ступеням дома и наполняют тесную квартиру, где стоит гроб. От цветов, под которыми он покоится, через несколько часов не остается и следа: сотни рук

уносят, как драгоценную святыню, по цветку. Воздух сгущается настолько, что гаснут свечи. Толпы людей, волна за волной, теснятся все ближе к покойнику. От натиска гроб пошатнулся; испуганная вдова и дети поддерживают его руками. Полицмейстер пытается запретить публичные похороны, на которых студенты собираются нести за гробом кандалы каторжника, но не решается бороться с воодушевлением, которое могло бы разрешиться вооруженным столкновением. И внезапно на похоронах святая мечта Достоевского о единой России на час стала явью. Как в его произведениях все классы и сословия России, охваченные братским чувством, составляют одну сплоченную массу, так и здесь стотысячная толпа за его гробом объединена общей печалью; князья, священники, рабочие, студенты, офицеры, лакеи и нищие – все в один голос оплакивают дорогого покойника. Церковь, в которой его отпевают, наполнена цветами, гроб утопает в море венков и траурных лент, и перед открытой могилой соединяются все партии в клятве любви и почитания. Своим последним часом он дарит народу миг примирения и еще раз сверхъестественной силой преодолевает неистовые противоречия эпохи. И, как величественный салют покойнику, едва окончен его последний путь, взрывается грозная мина: революция. Через месяц совершается цареубийство, раздается гром восстания, молния кары прорезает воздух. Как Бетховен, Достоевский умирает в святом волнении стихии, во время грозы.

Значение его судьбы

*Науку изучил я
Страданий и улад
И в сладости страданья
Открыл блаженства яд.*
Готфрид Келлер⁴

Своеобразны отношения между Достоевским и его судьбой: непрерывная борьба, сочетание вражды и любви. Все конфликты заострены до боли, до боли напряжены все контрасты. Жизнь причиняет ему страдания потому, что любит его; и он любит ее за то, что суровы ее объятия: в страданиях познает великий мудрец высшую меру чувства. Судьба не дает ему ни мгновения свободы, всегда она бичует его, чтобы сделать этого верующего человека мучеником ее величия и могущества. Как Иаков, она борется с ним всю бесконечную ночь его жизни до восхода смерти и не выпускает его из своих судорожных объятий, пока он не благословит ее. И Достоевский – «раб Божий» – постиг величие этой миссии и нашел высшее блаженство в покорности беспредельным силам. Трепещущими устами он целует свой крест: «нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему». Опустившись на колени под тяжестью своей судьбы, он благоговейно подымает руки и свидетельствует святое величие жизни.

В этом рабстве у судьбы Достоевский, благодаря смирению и мудрости, стал великим победителем страданий, самым искусным мастером переоценки ценностей с евангельских времен. Только благодаря насилию судьбы стал он сильным, и его внутренняя мощь выковывается ударами молота, падающими на наковальню его жизни. Чем глубже низвергается его тело, тем выше взвигается его вера; чем больше он претерпевает как человек, тем блаженнее он познаёт смысл и необходимость мирового страдания. *Amor fati* – любовная преданность судьбе, которую Ницше воспеваает как самый плодотворный закон жизни, заставляет его в каждом враждебном акте ощущать лишь избыток, в каждом испытании – благо. Как в устах Валаама, превращается для избранника каждое проклятие в благословение, и каждое падение возвеличивает его. В Сибири, в кандалах, он сочиняет дифирамб царю, приговорившему его, невинного, к смертной казни; с непостижимой покорностью он целует карающую его руку; как Лазарь, едва восстав из гроба, он готов свидетельствовать красоту жизни, и после ежедневного умирания, после конвульсий и эпилептических судорог, еще с пеной у рта, он подымается, чтобы восхвалять Бога, пославшего ему испытание. Всякое страдание порождает в его раскрытой душе новую любовь к страданию, ненасытную, томительную, самобичующую жажду новых мученических терний. Едва ударит его судьба жестокой рукой, он, обливаясь кровью, уже тоскует по новым ударам. Каждую поражающую его молнию он схватывает и, предназначенную для его уничтожения, претворяет в душевный огонь и экстаз.

Перед такой сверхъестественной силой преобразования событий внешняя судьба становится совершенно бессильной. То, что представляется испытанием и карой, для мудрого становится помощью; то, что могло бы ввергнуть человека в бездну, лишь возвышает поэта; то, что погубило бы более слабого, только закаляет силу его экстаза. Минувший век, играя эмблемами, дает образец подобного двойного действия одинаковых событий. Другого поэта нашего мира – Оскара Уайльда коснулась такая же молния. Оба, писатели с именем, в один прекрасный день из буржуазной сферы своего существования попадают в тюрьму. Но поэт Уайльд раздробляется в этом испытании, как в ступке, поэт Достоевский формируется, как металл в плавиль-

⁴ Перевод В. А. Зоргенфрея.

ной печи. Ибо Уайльд, мыслящий сословно, с внешним инстинктом человека общества, ощущает наложенное на него клеймо как позор, и самым ужасным унижением становится для него купанье в Reading Goal'e, где его холеное аристократическое тело должно погружаться в воду, загрязненную десятью другими узниками. Привилегированный класс, культура джентльмена содрогается в его лице перед физическим соприкосновением с чернью. Достоевский, человек нового мира, стоящий над сословными предрассудками, всей своей опьяненной роком душой пламенно стремится к этому общению; та же грязная баня становится для него чистилищем гордости, и в смиренной помощи грязного каторжника он восторженно ощущает христианский обряд омовения ног. Уайльд, в котором лорд заглушает человека, страдает от боязни, что заключенные могут принять его за равного; Достоевский испытывает мучения лишь до тех пор, пока воры и убийцы отказываются признать в нем брата, ибо всякое неравенство, всякое небратское отношение он ощущает как упрек своей человечности. Как уголь и бриллиант представляют собой одну породу, так и эта двойная судьба одинакова и в то же время различна для двух поэтов. Уайльд – конченный человек, когда он выходит из тюрьмы, Достоевский только возрождается; Уайльд сгорает, превращаясь в негодный шлак в том же огне, в котором Достоевский формируется в сверкающую сталь. Уайльд наказан, как раб, потому что он сопротивляется, Достоевский побеждает судьбу любовью к судьбе.

Так умеет Достоевский преображать свои невзгоды, переоценивать все унижения, и подготавливает ему лишь самая суровая судьба. Ибо из опасностей своей жизни извлекал он самые прочные внутренние устои; страдания становятся для него богатством, пороки – ценностью, препятствия на его пути – подъемом. Сибирь, каторга, эпилепсия, нищета, бешеный азарт, сладострастие – все эти ужасы его существования, благодаря сверхъестественной силе переоценки, становятся плодотворными для его искусства; подобно тому как люди добывают драгоценные металлы из самых мрачных горных глубин, среди бушующих гроз, глубоко под приспособленной для прогулок плоскостью беспечной жизни, так и художник обретает пламенную истину и последнее откровение в самых опасных безднах своего существа. С художественной точки зрения жизнь Достоевского – трагедия, с нравственной – беспримерное достижение, торжество человека над своей судьбой, переоценка внешнего существования силой внутренней магии.

Особенно примечательно торжество духовной жизненной силы над болезненным, хилым телом. Нельзя упускать из виду, что Достоевский был больным, что это бессмертное бронзовое творение было создано из надтреснутых, слабых членов и раскаленных, трепещущих нервов. В его тело внедрился ужасный недуг, бдительный и грозный символ смерти: эпилепсия. Достоевский был эпилептиком во все тридцать лет служения искусству. Посреди работы, на улице, во время беседы, даже во сне, рука удушающего демона внезапно впивается в горло и швыряет его, с пеной у рта, на пол так, что застигнутое врасплох тело разбивается до крови. Уже нервным ребенком, в страшных галлюцинациях, в ужасной душевной напряженности чувствует он зарницу опасности, – в молнию эта «священная болезнь» выковывается лишь в тюрьме. Там напряжение нервов мощно выталкивает ее наружу, и, как всякое несчастье, как нищета и лишения, физический недуг Достоевского остается ему верным до последнего часа. Но странно: никогда он не противился этому испытанию, не жаловался на свой недуг, как Бетховен на глухоту, как Байрон на хромую ногу, Руссо на болезнь мочевого пузыря; нигде даже не засвидетельствовано, что он когда-либо серьезно принимался за лечение. С полной уверенностью можно невероятное утверждать как истину: со своим безграничным amor fati он любил свою болезнь – как любил судьбу, как любил каждый из своих пороков, каждую грозившую ему опасность. Любознательность художника преодолевает страдания человека: Достоевский становится властелином своих страданий, наблюдая их. Самую страшную угрозу своей жизни, эпилепсию, он превращает в великую тайну своего искусства: неведомую доселе таинственную красоту он извлекает из этих состояний, чудесно собирающих в мгновения головокружитель-

ного предчувствия экстатическое упоение своим «я». В неимоверном сокращении переживается среди жизни смерть, и в этот миг, перед каждым умиранием, он вкушает самую сильную, самую пьянящую эссенцию бытия – патологически напряженное «самоощущение». Как мистический символ, внедрена в его кровь память о самом сильном мгновении его жизни, о минуте на Семеновском плацу; всегда он исполнен ощущения грозного контраста, разделяющего Все и Ничто. И тут застилает взор повязка мрака, и тут, как вода из наклоненной, переполненной чаши, выливается душа из тела, – вот трепещет она с распростертыми крыльями навстречу Богу, ощущая в бесплотном парении небесный свет, благодатный проблеск иного мира; вот уносится земля, уже звучит музыка сфер – и вдруг гром пробуждения сбрасывает его, истерзанного, в обыденную жизнь. Всякий раз, как Достоевский описывает это мгновение, это блаженное, словно сон, чувство, оживленное его беспримерной зоркостью, – его голос, вспоминая, становится страстным, и мгновение ужаса – гимном. «На несколько мгновений, – вдохновенно проповедует он, описывая состояние эпилептика за секунду перед припадком, – я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. В этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего однако в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы. За несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь».

В эту пламенную секунду взор Достоевского выходит за пределы единичных явлений мира и пылающим, всеобъемлющим чувством охватывает беспредельность. Но он здесь умалчивает о горьком наказании, которым он оплачивает каждое судорожное приближение к Богу. Страшный упадок сил разбивает вдребезги кристальные секунды, с истерзанными членами и затуманенной мыслью он погружается, новый Икар, в земную ночь. Чувства, еще ослепленные пламенным светом, бродят с трудом по тюрьме разбитого тела: будто слепые черви, осели теперь на дне бытия эти чувства, в блаженном паренье достигшие Божьего лика. После каждого припадка Достоевский погружался в граничащую с идиотизмом дремоту, весь ужас которой он с самобичующей наглядностью раскрывает в образе князя Мышкина. Он лежит в постели с расслабленными, часто разбитыми до крови членами; язык не подчиняется звуку, рука не владеет пером, угрюмо и печально он отказывается от всякого общества. Улетучилась ясность мысли, только что охватывавшей в гармоническом ракурсе тысячи деталей, он не может вспомнить недавних событий, порваны жизненные нити, связывавшие его с окружающим миром, с его работой. Однажды после припадка, во время работы над «Бесами», он с ужасом замечает, что забыл все придуманные им события. Он не мог даже вспомнить имени героя. С трудом он снова вживается в образы, настойчивой волей возвращает яркость стушевавшимся видениям, пока – пока не скосит его новый припадок. Так, в постоянном страхе перед падучей, с горьким вкусом смерти на устах, затравленный нуждой и лишениями, создает он свои последние, самые мощные произведения. На грани между смертью и безумием приобретает особую, сомнамбулически твердую мощь его творчество; из вечного умирания черпает он, воскресая, сверхъестественную силу, чтобы охватить всю жизнь и вырвать у нее наивысшую страстность и мощь.

Этой болезни, этому демоническому року, гениальность Достоевского обязана (Мережковский блестяще провел эту антитезу) не менее, чем гениальность Толстого его здоровью. Она привела его к такому ступению душевных состояний, какое недоступно нормальному восприятию, дала ему возможность проникнуть в подземный мир чувства, в неведомые области души. Это изумительное свойство двойного бытия, это бодрствование во время бурного сна, бдительность наблюдающего интеллекта в странствовании по лабиринту чувств, – вот что позволило ему создать метафизику патологических явлений, изобразив их с полнотой, которой не достигает аналитический скальпель науки, вскрывающий мертвый клинический материал. Как многоопытный Одиссей приносит весть Гадеса, так и он, возвращаясь живым из страны теней

и пламени, дает ее точное описание и свидетельствует своей кровью и холодным трепетом уст существование призрачного состояния между жизнью и смертью. Благодаря болезни он приобретает высший художественный дар, который Стендаль определил как искусство «*d'inventer des sensations inedites*»,⁵ дар изображать в полном тропическом расцвете чувства, находящиеся у нас в зародыше, но не созревающие в прохладной температуре нашей крови. Обостренный слух больного улавливает последние слова души перед тем, как она впадает в бред. Повышенная чуткость с абсолютной точностью измеряет самые нежные вибрации чувств; мистическая проницательность в минуты предчувствия рождает пророческий дар второго зрения и схватывает магию единства. О, чудесное превращение! Как плодотворно оно в роковые мгновения сердца! Как художник, всякую опасность Достоевский обращает в ценность, и вместе с тем, как человек, он приобретает новое величие, благодаря мерилу, которым он обладает. Ибо счастье и страдание, конечные границы чувства, переживаются им с неимоверно повышенной интенсивностью; он измеряет не обычным мерилем средней жизни, а градусами кипения своей душевной болезни. Высший предел счастья для другого – в наслаждении ландшафтом, в обладании женщиной, в ощущении гармонии – все это доступные в земных условиях блага. У Достоевского точка кипения переживаний – в невыносимом, в смертельном. Его счастье – в спазме, в судороге с пеной у рта, его мучение – в разгроме, в упадке сил, в изнеможении; всегда это – молниеносно сжатые, безмерно значительные состояния, которые в земных условиях не могут иметь длительности, которые достигают таких градусов кипения, что секунда едва может удержать их и от боли должна выпустить из рук. Кто при жизни постоянно переживает смерть, тот испытывает более могучий ужас, чем нормальный человек; кто ощутил бестелесный полет, знает большую усладу, чем тело, никогда не покидавшее земли. Его представление о счастье – экстаз, его представление о страдании – гибель. Поэтому счастье его героев далеко от повышенного веселья: оно мерцает и горит, как пламя, оно трепещет от сдерживаемых слез и томится предчувствием опасности; это – невыносимое, непрочное состояние, скорей страдание, чем наслаждение. Его мучения – это опять-таки состояния, уже перешагнувшие за обычные грани тусклой, давящей боязни, тяжести и ужаса; это – ледяная, почти улыбающаяся ясность, демоническая, не знающая слез жажда горя, сухой, раскатистый смех и дьявольская усмешка, соприкасающаяся с наслаждением. Никто до него не вскрыл с такой остротой внутреннего противоречия чувств, никогда не был мир так болезненно напряжен, как здесь, между этими новыми полюсами экстаза и гибели, которые он воздвиг вне обычных измерений – страдания и счастья.

В этой полярности, которой отметила его судьба, и только в связи с ней Достоевский становится понятным. Он – жертва жизненного разлада, и потому – как страстный поклонник своей судьбы – фанатик своих контрастов. Горячность его художественного темперамента обязана всецело постоянному трению этих противоположностей, и вместо того, чтобы их примирять, он неудержимо углубляет врожденный разлад, доводя его до рая и преисподней; никогда не заживает зияющая рана в жгучей духовной лихорадке творчества. Достоевский, как художник, – совершеннейший продукт противоречий, величайший дуалист искусства и, быть может, человечества. Один из его пороков символически воплощает в наглядную форму эту основную особенность его существа: его болезненная любовь к азартной игре. Уже в детстве он страстно играет в карты; но лишь в Европе он познает дьявольское зеркало своих нервов – *rouge et noir*, рулетку, игру, столь опасную в своем примитивном дуализме. Зеленый стол в Баден-Бадене, банк в Монте-Карло – вот источники его экстаза в Европе; сильнее, чем Сикстинская Мадонна, чем скульптура Микеланджело, чем южные ландшафты, сильнее, чем искусство и культура всего мира, гипнотизируют они его нервы. Ибо здесь напряжение и решение – красная или черная, чет или нечет, счастье или гибель, выигрыш или проигрыш – втиснуты в одну-един-

⁵ Изобретать неизведанные чувства.

ственную секунду вращения колеса, напряжение сконцентрировано в форме стремительного контраста, в болезненно-сладостной, молниеносной форме, всецело отвечающей его характеру. Мягкие, сглаженные переходы, медленные подъемы невыносимы для его лихорадочного нетерпения; он не хочет «накоплять богатства немецким способом» – предусмотрительностью, расчетливостью, бережливостью: его пленяет риск, доверие к случаю. Постоянно искушаемая воля полусознательно подражает за зеленым столом формам его внешней судьбы: сжатие решений в один-единственный миг; до крайности обостренное, вонзающее глубоко в нервы раскаленную иглу ощущение, таинственно напоминающее секунду предчувствия и низвержения эпилептической молнии и незабываемое мгновение на Семеновском плацу. Так же как судьба играла им, так он теперь играет судьбой: он создает себе из случая искусственное напряжение и в минуты благополучия дрожащей рукой бросает все свое существование на зеленый стол. Не алчность влечет его к игре, а «исступленная и неприличная, карамазовская жажда жизни», требующая крепчайших эссенций, болезненная тоска по головокружению, ощущение, которое он испытывает, «как бы бросаясь вниз с колокольни», заглядывая в пропасть. Ибо он любит пропасти, глубины жизни, демоническую природу случая, с фанатической покорностью любит силы, превосходящие его собственную силу, и вечным вызовом привлекает их смертоносную молнию на свое чело. Азартной игрой Достоевский провоцирует судьбу: его ставка – не деньги, и большей частью его последние деньги, а все его существо; его выигрыш – предельное опьянение нервов, смертельный трепет, страх всех страхов, демоническое ощущение мира. Даже в золотом яде Достоевский черпал лишь новое стремление к Божеству.

Разумеется, эту страсть, как и всякую другую, он доводил до безмерности, до порока. Медлительность, осторожность, колебания были чужды этому гигантскому темпераменту: «Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». И этот переход границ, составлявший величие художника, был опасностью для человека: его не останавливают преграды буржуазной морали, и никто не может в точности сказать, в какой мере жизнь его переступила грани закона, в какой мере преступные инстинкты его героев осуществились в нем самом. Кое-что доказано, – вероятно, самое незначительное. Ребенком он жульничал в картах, и, как его трагический шут Мармеладов в «Преступлении и наказании» украл у жены чулки, чтобы пропить их, так Достоевский крадет у жены деньги и платья для игры в рулетку. Биографы не решаются определить, насколько чувственное распутство его «подполья» близко к извращенности, в какой мере гнездились в нем сексуальные извращения «сладострастных насекомых» Свидригайлова, Ставрогина и Федора Карамазова. Во всяком случае, даже его извращения гнездятся в таинственной жажде контраста между невинностью и пороком; но не стоит обсуждать (как ни показательны они) эти легенды и догадки. Важно лишь то, что антипод Спасителя, святого, Алеши в Достоевском-Карамазове – сластолюбивый, чувственный, грязный Федор Павлович – связан с ним кровным родством.

Можно решительно утверждать лишь одно: что Достоевский и в чувственности превышал буржуазные мерки, – и, конечно, не в том смягченном смысле, в каком понимал это Гете, сказавший некогда в своем известном изречении, что он живо ощущает в себе склонность ко всем преступлениям и мерзостям. Ибо все мощное развитие Гете является сплошным могучим усилием вытравить в себе эти опасные зародыши. Олимпиец стремится к гармонии, его высшее стремление – преодолеть все противоречия, охладить кровь, привести силы в состояние спокойного равновесия. Он убивает в себе чувственность ради нравственности; не останавливаясь перед обескровливанием своего искусства, постепенно он искореняет все опасные зародыши, – правда, лишаясь вместе с низкими помыслами немалой части своих сил. Но Достоевский, столь же страстный в своем дуализме, как и во всем, что уделила ему жизнь, не стремится к гармонии: она обозначает для него застывание; он не соединяет свои противоречия в божественно-гармоничное целое, а растягивает их от Бога до дьявола и между ними располагает мир. Он хочет бесконечной жизни. И жизнь для него – лишь электрический разряд между

полюсами контраста. Все заложенные в нем семена должны взойти; добро и зло, опасность и ее преодоление – все расцветает и созревает под его тропической страстностью. Он позволяет размножаться сорной траве пороков, безудержно гонит в жизнь все свои, даже преступные, инстинкты. Он любит свои пороки, свою болезнь, игру, свою злобу и даже сладострастие, потому что оно является метафизикой плоти, – это желание бесконечного наслаждения. Гете стремится к антично-аполлинийскому, Достоевский к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь – сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности. Жить правильно значит для него жить мощно и пережить все – хорошее и дурное, притом – то и другое в самых сильных, в самых пьянящих проявлениях. Поэтому Достоевский всегда искал не нормы, а только полноты. Рядом с ним Толстой встревоженно останавливается среди своей работы, бросает искусство и всю жизнь решает мучительный вопрос – что хорошо, что плохо, правильно ли он живет или неправильно. Потому жизнь Толстого дидактична, она – учебник, памфлет; жизнь Достоевского – художественное произведение, трагедия, судьба. Он не действует целесообразно, сознательно, он не экзаменует, а только укрепляет себя. Толстой громогласно, всенародно кается во всех смертных грехах. Достоевский молчит, но его молчание говорит о Содоме больше, чем все исповеди Толстого. Достоевский не осуждает себя, не хочет измениться, не хочет исправиться, он хочет лишь одного: укрепиться. Он не сопротивляется дурному, опасному началу своей природы; напротив, он любит свои опасности как стимул, он поклоняется своему греху ради раскаяния, своей гордости ради смирения. Наивно было бы умалчивать о демоническом начале его существа (столь сродном Божественному началу), «оправдывать» его с точки зрения морали и спасать для мелкой гармонии буржуазных мерок то, что обладает стихийной красотой неизмеримости.

Кто создал Федора Карамазова, образы студента в «Подростке», Ставрогина в «Бесах», Свидригайлова в «Преступлении и наказании», этих фанатиков плоти, этих одержимых сладострастием, этих мастеров распутства, тот сам должен был пережить самые низкие формы чувственности, ибо необходимо духовно любить разврат, чтобы дать этим образам их жестокую реальность. Его ни с чем не сравнимая возбудимость знала эротику в двояком ее проявлении: знала ее в плотском опьянении, упоенно купающуюся в грязи, знала до тончайших духовных извращений, когда она цепенеет в ярости и преступлении, знала ее под всеми масками, и мудрым взором он улыбается ее безумству; но он знает ее также и в благородных формах, когда любовь становится бесплотной, – в сострадании, блаженной жалости, в мировом братстве и в безудержных слезах. В нем были все эти таинственные эссенции и не в мимолетных химических соединениях, которые бывают у каждого истинного поэта, а в самых чистых, в самых сильных экстрактах. Каждое извращение описано у него с сексуальным подъемом и ощутимой вибрацией чувств, и многое, конечно, он сладострастно пережил. Этим я не хочу сказать (глубоко ошибочно было бы такое толкование), что Достоевский был развратником, одним из тех, кого радовала плоть сама по себе, – бонвиваном. Он лишь жаждал наслаждений, как жаждал и страданий, раб властного, инстинктивного духовного и плотского любопытства, которое кнутом гнало его к опасностям, в колючую чашу извращенных путей. И самое наслаждение его – не банальная улада, а игра и ставка всей чувственной жизненной силы, вечно повторяющееся стремление к ощущению таинственной грозовой духоты эпилепсии, концентрация чувств в несколько напряженных секунд грозного предчувствия – и потом глухое падение в бездну раскаяния. Он любит в наслаждении лишь мерцанье опасности, игру нервов, проявление стихии в своей плоти; во всяком наслаждении он видит своеобразное смешение сознательности и глухого стыда и находит в нем его противоположность – осадок раскаяния; в посрамлении он ищет невинность, в преступлении – только опасность. Чувственность Достоевского – лабиринт, в котором спутаны все пути; Бог и зверь уживаются рядом в одном теле, и в символе Карамазовых знаменательно, что Алеша, этот ангел, святой, является сыном Федора, жестокого

«сладострастника». Сладострастие рождает чистоту, преступление – величие, наслаждение – страдание и страдание – снова наслаждение. Вечно соприкасаются контрасты; между небом и адом, Богом и дьяволом расстилается его мир.

Безграничная, беззаветная, добровольно безоружная покорность своей двойственной судьбе, *amor fati* – последняя и единственная тайна, пламенный творческий источник его экстаза. Именно за то, что так много ему было уделено жизнью, за то, что она раскрыла ему безграничность чувства в страдании, он любил эту жестоко-милостивую, божественно-непонятную, вечно мистическую жизнь. Ибо его мера – полнота, беспредельность. Никогда он не стремился к более спокойному прибою жизненных волн, он хотел лишь еще больше сконцентрировать его в самом себе, сделать более интенсивным, и потому никогда не уклонялся от внутренних и внешних опасностей: они дают неограниченную возможность чувствования, воспламенения нервов. Все, что было в нем заложено – семя добра и зла, каждую страсть, каждый порок, – он возрастил вдохновением и экстазом, ни одной опасности он не вытравил из своей мудрой крови. Безудержный игрок делает себя ставкой в страстной игре судеб, ибо только во вращении красной и черной, жизни и смерти, упоенно переживает он сладострастие своего бытия. «Ты меня привела, ты меня и выведешь», вместе с Гете отвечает он природе. «*Corriger la fortune*», исправлять судьбу, обходить, смягчать ее, – ему и в голову не приходит. Он никогда не ищет совершенства, законченности, успокоения в тишине, а только интенсивности жизни в страданье; все больше он взвинчивает свое чувство новыми напряжениями, ибо не себя он хочет спасти, а высшую сумму ощущений. Он не хочет, как Гете, затвердеть подобно кристаллу, холодно отражая в сотне плоскостей смятанный хаос; он хочет остаться пламенем, разрушающим себя, непрерывно самоуничтожающимся, чтобы непрерывно вновь создавать себя, вечно повторяясь, но каждый раз с повышенной силой и в более напряженных контрастах. Он не хочет властвовать жизнью, он хочет ее ощущать. Быть не господином, а фанатическим рабом своей судьбы. И только став «рабом Божиим», отдаваясь до конца, он смог стать самым мудрым в области всего человеческого.

Достоевский вернул судьбе власть над своей судьбой. Потому его жизнь приобретает могущество над случайной эпохой. Это демонический человек, подчиненный вечным силам, и в его образе еще раз встает в документальном освещении нашей эпохи, казалось, ушедший в прошлое поэт мистических времен, пророк, великий в своем исступлении человек судьбы. Есть в этом гигантском образе первобытность и героизм. Если иные литературные произведения подымаются как усеянные цветами горы из долины времен – бывшие свидетели созидающей первобытной силы, но уже умиротворенные временем и доступные до самых высей, где белоснежными венцами они упираются в бесконечность, то вершина его творения кажется фантастической и серой, – бесплодная застывшая лава. Но в кратере его истерзанной груди точно жара, чтобы расплавить глубочайшее пламенное зерно нашего мира: здесь крепка еще связь с началом всех начал, с истоком первобытной силы, и, содрогаясь, мы ощущаем в его судьбе и в его творчестве всю таинственную глубину человеческой души.

Герои Достоевского

Вулканичен он сам, вулканичны и его герои, – ибо только в самые критические минуты свидетельствует человек о Боге, создавшем его. Они не размещаются спокойно в нашем мире, всегда они спускаются в своих ощущениях в глубь извечных проблем. Современный человек, человек нервов, сочетается в них с первобытным существом, которое знает в жизни только свои страсти, и, делая последние признания, они в то же время косноязычно произносят изначальные вопросы мира. Их формы еще не остыли, их сланцы не окаменели, их лица не сглажены. Вечно несовершенные, они вдвойне жизненны. Ибо совершенный человек в то же время и законченный, у Достоевского же все уходит в бесконечность. Люди лишь до тех пор представляются ему героями, достойными художественного изображения, пока они пребывают в разладе с собой, пока они являются проблемой: совершенных, зрелых он сбрасывает с себя, как дерево плод. Достоевский любит свои образы только до тех пор, пока они страдают, пока они обладают повышенной, двойственной формой его собственной жизни, пока они представляют собой хаос, стремящийся превратиться в рок.

Попытаемся поставить его героев в другие рамки, чтобы лучше понять их изумительное своеобразие. Сравним. Если восстановим в памяти любого героя Бальзака, как тип французского романа, невольно создается впечатление прямолинейности, ограниченности и внутренней законченности. Понятие отчетливое и закономерное, как геометрическая фигура. Все бальзаковские образы сделаны из одного вещества, которое может быть в точности установлено психической химией. Они являются элементами и обладают всеми присущими элементам качествами; следовательно, им свойственны и типичные формы моральной и психической реакции. Они уже почти не люди, скорее очеловеченные свойства, – точные приборы какой-нибудь страсти. Имя у Бальзака можно заменить названием свойства: Растиньяк равен честолюбию, Горио – самопожертвованию, Вотрен – анархии. В каждом из этих людей доминирующий импульс подчинил себе все остальные внутренние силы и направил их в основное русло жизненной воли. Все они, эти герои, поддаются характерологической классификации, ибо их душа вмещает лишь одну пружину, с большей или меньшей энергией движущую их в человеческом обществе; словно пушечное ядро, врежется каждый из этих молодых людей в гущу жизни. В известном смысле хочется назвать их автоматами: с такой точностью они реагируют на каждое жизненное раздражение, что сила действия и сопротивления этих механизмов может быть точно рассчитана специалистом-техником. Если хоть сколько-нибудь вчитаться в Бальзака, то реакцию характера на любое событие можно рассчитать так же, как параболу полета камня, зная силу размаха и его тяжесть. Скупость Гранде-Гарпагона будет возрастать в прямом отношении к самоотверженности его дочери. И когда Горио еще имеет приличное состояние, и его парик тщательно напудрен, уже знаешь, что когда-нибудь ради дочерей он пожертвует своим жилетом и продаст на лом свое последнее достояние – серебряный сервиз. С необходимостью он должен действовать именно так – в силу единства своего характера, в силу импульса, которому его плоть лишь до известной степени сообщает человеческий облик. Характеры Бальзака (также Виктора Гюго, Скотта, Диккенса) все примитивны, одноцветны, целеустремленны. Они – единства, и потому могут быть взвешены на весах морали. Многоцветен и тысячник в этом духовном космосе лишь случай, с которым они сталкиваются. У этих эпических писателей события многообразны, а человек является единством, и роман повествует о борьбе за обретение силы против земных сил. Герои Бальзака, как и французского романа вообще, или сильнее, или слабее противостоящего им общества. Они овладевают жизнью или гибнут под ее колесами.

Герой немецкого романа, типом которого можно считать хотя бы Вильгельма Мейстера или Зеленого Генриха, не так уверен в своем доминирующем импульсе. В нем сочетаются раз-

ные голоса, он психологически дифференцирован, духовно полифоничен. Добро и зло, сила и слабость беспорядочно протекают в его душе: его исток – смятение; утренний туман завлакивает его взор. Он ощущает в себе силы, но они еще не сосредоточены, еще борются в нем; он не гармоничен, он только одушевлен волей к единству. Немецкий гений в конечном счете всегда стремится к порядку. И все «романы развития» развивают в немецких героях не что иное, как личность. Силы концентрируются, человек вознесен к немецкому идеалу сильной личности, «в мировом потоке, – по слову Гете, – создается характер». Перемешанные жизнью элементы кристаллизуются в обретенном покое, для мастера прошли годы обучения, и с последней страницы всех этих книг – «Зеленого Генриха»,⁶ «Гипериона»,⁷ «Вильгельма Мейстера», «Офтердингена»⁸ – ясный взор уверенно смотрит в ясный мир. Жизнь примиряется с идеалом; накопленные силы уже не расточаются: упорядоченные, они направлены к достижению высшей цели. Герои Гете, так же как герои всех немецких писателей, развиваются в высшие формы: они приобретают действенность и в опыте изучают жизнь.

Герои Достоевского не ищут и не находят связи с действительной жизнью: в этом их особенность. Они вовсе не стремятся к реальности, а сразу же выходят за ее границы, в беспредельность. Их судьба сосредоточена для них не вовне, а внутри. Их царство не от мира сего. Все мнимые виды ценностей – положение в обществе, власть и деньги – все материальные блага в их глазах не имеют цены – ни как цель у Бальзака, ни как средство у немцев. Они вовсе не стремятся пробиться в этом мире, так же как не хотят властвовать или подчиняться. Они не сберегают, а расточают себя, не исчисляют и остаются вечно неисчислимыми. Благодаря бездельности натуры на первый взгляд они кажутся праздными мечтателями и фантазерами, но их взор только кажется пустым, ибо он обращен не на внешнее, а жгуче и пламенно устремлен в себя, на собственное существо. Русский человек охватывает все в целом. Он хочет ощущать себя и жизнь, а не ее тень и отражение, не внешнюю реальность, а великие мистические основы, космическую мощь, чувство бытия. Вникая глубже в произведения Достоевского, всюду слышишь, будто журчанье глубинного источника, эту примитивную, почти растительную, фанатическую жажду жизни, чувство бытия, это первобытное стремление, требующее не счастья или страдания, которые уже являются качественно определенными жизненными формами – оценкой, различием, – а равномерного, единообразного наслаждения, подобного тому, которое испытываешь при дыхании. Они хотят пить вечность из первоисточника, а не из городских колодцев, хотят ощущать в себе беспредельность, избыть все временное. Они знают лишь вечный, а не социальный мир. Они не хотят изучать жизнь, не хотят ее побеждать, они хотят ощущать ее как бы обнаженной и ощущать как экстаз бытия.

Чуждые миру в силу любви к миру, нереальные в силу страсти к реальному, герои Достоевского сперва кажутся несколько наивными. У них нет определенного направления, нет видимой цели: точно слепые или пьяные, шатаясь бродят по миру эти, все же взрослые люди. Они останавливаются, оглядываются, задают вопросы и бегут, не дождавшись ответа, дальше, в неизвестность. Кажется, что они только сейчас вступили в наш мир и не успели с ним освоиться. И люди Достоевского останутся непонятными, если не вспомнить, что они русские, дети народа, который из вековой, варварской тьмы свалился в гущу нашей европейской культуры. Оторванные от старой, патриархальной культуры, еще не освоившиеся с новой, стоят они на распутье, и неуверенность каждого из них – это неуверенность целого народа. Мы, европейцы, живем в наших старых традициях, как в теплом доме. Русский девятнадцатого столетия, эпохи Достоевского, сжег за собой деревянную избу варварской старины, но еще не построил нового дома. Все они вырваны с корнем и потеряли направление. Они обладают силой молодости, в

⁶ «Зеленый Генрих» – роман Готфрида Келлера, появившийся в 1855 г. и переработанный в 1879–1880 гг. – *Прим. пер.*

⁷ «Гиперион» – роман Гёльдерлина (1797–1889 гг.). – *Прим. пер.*

⁸ «Генрих фон Офтердинген» – посмертный роман Новалиса, появившийся в 1802 г. – *Прим. пер.*

их кулаках сила варваров, но инстинкт теряется в многообразии проблем, они не знают, за что им раньше взяться своими крепкими руками. Они берутся за все и никогда не бывают удовлетворены. Трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа. Россия в середине девятнадцатого столетия не знает, куда направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу или в Азию, в Петербург, в «самый умышленный город на всем земном шаре», в культуру, или обратно, к крестьянскому хозяйству, в степь. Тургенев толкает ее вперед, Толстой назад, все в волнении. Царизм накануне анархии, православие, наследие древних времен, готово перескочить в самый неистовый атеизм. Ни в чем нет прочности, ничто не имеет своей цены, своего измерения в эту эпоху: сияние веры не озаряет чело, и закон давно угас в груди. Оторванные от великой традиции, герои Достоевского – настоящие русские, люди переходной эпохи, с хаосом начинаний в душе, отягощенные сомнениями и неуверенностью. Всегда они запуганы и забиты, всегда они чувствуют себя униженными и оскорбленными, – и все это единственно благодаря общему переживанию народа; они не знают, много ли, мало ли они стоят. Вечно они находятся на грани гордости и уничижения, самомнения и самопрезрения, вечно они оглядываются на других, и всех их гложет безумный страх перед возможностью быть смешными. Они беспрерывно стыдятся – то поношенного мехового воротника, то всего народа, – но вечно стыдятся, стыдятся; вечно они беспокойны, смущены. Их чувство, могучее чувство, не знает удержу, лишено руководства; никто из них не знает меры, закона, поддержки традиций, опоры унаследованного мировоззрения. Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире. Все вопросы остаются без ответа, ни одна дорога не проложена. Все они люди переходной эпохи, нового начала мира. Каждый из них Кортец: позади – сожженные мосты, впереди – неизвестность.

Но вот что примечательно: так как они люди нового начала мира, в каждом из них снова рождается мир; все вопросы, уже застывшие у нас в холодных понятиях, еще кипят у них в крови; им неведомы наши удобные, протоптанные дороги с их моральными перилами и вехами, – всегда и везде они пробираются через чащу в безграничность, в беспредельность. Нигде нет башен достоверности, мостов доверия; всюду девственно-первобытный мир. Каждый в отдельности чувствует, что он, так же как в России Ленина и Троцкого, должен быть строителем нового мирового порядка, и неопишное значение русского человека для Европы, оцепеневшей в оболочке своей культуры, в том, что тут неистощенная любознательность еще раз ставит вечности все вопросы жизни: там, где мы застыли в нашей цивилизации, другие еще охвачены пламенем. В творчестве Достоевского каждый герой наново решает все проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра и зла, каждый сам претворяет свой хаос в мир. Каждый герой у него слуга, глашатай нового Христа, мученик и провозвестник третьего царства. В них бродит еще изначальный хаос, но брезжит и заря первого дня, давшего свет земле, и предчувствие шестого дня, в который будет сотворен новый человек. Его герои прокладывают пути нового мира; роман Достоевского – миф о новом человеке и его рождении из лона русской души.

Но миф, и к тому же национальный миф, требует веры. И потому бесцельно пытаться постигнуть этих людей при посредстве кристального разума. Только чувство, братское чувство, может его понять. Common sense, здравому смыслу англичанина, американца, практического человека четверо Карамазовых должны казаться четырьмя видами дураков, весь трагический мир Достоевского – сумасшедшим домом. Ибо то, что было и всегда будет альфой и омегой для здоровой, простой, земной натуры, – стремление к счастью – представляется им самой безразличной вещью в мире. Раскройте любую из 50 тысяч книг, ежегодно производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина хочет мужа, или некто хочет разбогатеть, стать могущественным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой детей, у Бальзака – замок с титулом пэра и миллионами. И если мы оглянемся вокруг, на улице, в лавках, в низких комнатах и в светлых залах

– чего хотят там люди? Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто. Ни один. Они нигде не хотят остановиться – даже в счастье. Они всегда стремятся дальше, все они обладают «горячим сердцем», которое приносит им мучения. К счастью они равнодушны, равнодушны и к довольству, богатство они скорее презирают, чем желают его. Они ничего не хотят, эти чудачки, из того, к чему стремится все наше человечество. У них *uncommon sense*.⁹ Они ничего не требуют от этого мира.

Итак, они довольствуются малым? Стало быть, флегматики, аскеты, индифферентные люди? Напротив! Люди Достоевского, как я уже говорил, люди нового начала мира. При всей их гениальности, при всем кристальном разуме, у них детские сердца, детские желания: они не хотят ни того, ни другого, – они хотят всего. И очень сильно хотят. Добра и зла, горячего и холодного, близкого и далекого. Они преувеличивают, не знают меры. Я сказал: они ничего не требуют от этого мира. Плохо сказано. Они не требуют от него ничего единичного, они требуют всего – всю полноту чувства, всю глубину мира – единую жизнь. Не надо забывать, что они не слабые люди, не Ловеласы, не Гамлеты, не Вертеры, не Рене, – у них крепкие мускулы и грубый голод жизни, у людей Достоевского; они – Карамазовы, «сладострастники», одаренные «исступленной и неприличной» жадной жизни, присасывающейся к последней капле чаши, прежде чем ее разбить. Во всем они ищут превосходную степень, повсюду – раскаленных докрасна переживаний, в которых испаряется дешевая лигатура случайного и не остается ничего, кроме расплавленного, жгучего мирового чувства; как одержимые амоком, они бегут в жизнь, от похоти к раскаянию, от раскаяния к злодеянию, от преступления к признанию, от признания к экстазу – по всем путям своего рока, повсюду до крайних пределов, пока не падают с пеной у рта, или пока их не опрокинут другие. О, эта жажда жизни! Целая юная нация, новое человечество жаждет их устами – жаждет мира, мудрости, истины! Найдите, покажите в произведениях Достоевского хоть одного человека, живущего спокойно, отдыхающего, достигшего своей цели! Нет ни одного, ни единого! Все они бешено состязаются в беге ввысь и вглубь, – ибо, по слову Алеши, «кто вступил на нижнюю ступеньку, тот все равно непременно ступит и на верхнюю»; они мечутся во все стороны, бросаются в стужу и в огонь, жадно хватаясь за все, ненасытные, не знающие меры, ищущие и находящие свою меру лишь в беспредельности. Как стрелы, они устремляются с вечно напряженной тетивы своей силы в небо, всегда к недостижаемому, всегда направляясь к звездам; в каждом из них – пламя, в каждом – искра тревоги. А тревога приносит муку. Поэтому все герои Достоевского – великие страдальцы. У всех искаженные лица, все живут лихорадочно, в судороге, в спазме. Больницей для нервных больных в ужасе назвал мир Достоевского один великий француз, – и действительно, для первого, для внешнего взгляда, какая тусклая, какая фантастическая сфера! Трактиры, наполненные испарениями водки, тюремные камеры, углы в квартирах предместий, переулки публичных домов и пивных, – и там, в рембрандтовском мраке, кишит толпа исступленных образов: убийца с кровью своей жертвы на руках, пьяница, возбуждающий всеобщий смех, девушка с желтым билетом в сумерках переулка, ребенок-эпилептик, побирающийся на улице, семикратный убийца на сибирской каторге, честный вор, умирающий в грязной постели, – какая преисподняя чувства, какой ад страстей! О, какое трагическое человечество, какое русское, серое, вечно сумрачное, низкое небо над этими образами, какой мрак души и ландшафта! Страна несчастий, пустыня отчаяния, чистилище без милости и без надежд.

О, каким мрачным, каким смутным, чуждым, враждебным представляется вначале это человечество, этот русский мир! Кажется, что он наводнен страданиями, и эта земля, как злобно замечает Иван Карамазов, «пропитана слезами от коры до центра». Но, так же как лицо Достоевского на первый взгляд кажется крестьянским, землистым, подавленным, удрученным, мрачным, и лишь потом замечаешь белизну его лба, сияющую над впалыми чертами,

⁹ Отрицание здравого смысла.

озаряющую верой его земную глубину, так и в его творчестве духовный свет пронизывает косную материю. Кажется, что мир Достоевского состоит из одних страданий. И все же – только кажется, что сумма страданий его героев больше, чем в произведениях других писателей. Ибо, рожденные Достоевским, все эти люди преображают свои чувства, гонят и перегоняют их от контраста к контрасту. И страдание, их собственное страдание, часто является для них высшим блаженством. Сладострастью, наслаждению счастьем в них мудро противопоставлено наслаждение болью, наслаждение мукой; в страдании – их счастье; они цепляются за него зубами, согревают его у своей груди, ласкают руками, они любят его от всей души. И они были бы самыми несчастными людьми лишь в том случае, если бы они его не любили. Этот обмен, иступленный, неистовый обмен чувств в душе, эту вечную переоценку героев Достоевского можно вполне уяснить лишь на примере; я выбираю один, повторяющийся в тысяче форм: горе, причиненное человеку унижением, действительным или воображаемым. Какое-нибудь простодушное, чувствительное существо – безразлично кто: мелкий чиновник или генеральская дочка – терпит обиду. Его гордость задета чьим-нибудь замечанием, может быть, пустячным. Это оскорбление служит первоначальным аффектом, приводящим в возбуждение весь организм. Человек страдает. Он оскорблен. Он настораживается, напрягается и ждет – новой обиды. И она является. Значит, казалось бы, обида удваивается. Но странно, она уже не причиняет боли. Правда, оскорбленный жалуется, кричит, но его жалоба уже не искренна: он любит свою обиду: «в этом непрерывном сознании позора заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение». Для оскорбленной гордости у него есть замена: гордость мученика. И вот в нем развивается жажда новых обид, все горших и горших. Он провоцирует, преувеличивает, требует: страдание стало его страстью, его отрадой, его мечтой. Его унизили, – и он хочет, человек, не знающий меры, быть униженным до конца. И теперь он уже не уступит своих страданий; стиснув зубы, он цепляется за них; теперь уже тот, кто захочет ему помочь, становится его врагом. Так маленькая больная Нелли трижды отказывается принять лекарство, так Раскольников отталкивает Соню, Илюша кусает палец кроткому Алеше – из любви, из фанатической любви к своему страданию. И все, все они любят страдание; страдая, они так остро ощущают возлюбленную жизнь; они знают, что «на нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение», – а этого они жаждут, жаждут больше всего! Это для них самое непреложное доказательство бытия; вместо «*cogito, ergo sum*» – «я мыслю, следовательно существую» они утверждают: «я страдаю, следовательно существую». И в этом «я есмь» у Достоевского и у всех его героев высшее торжество жизни. Превосходная степень мирового чувства. В тюрьме Дмитрий поет великий гимн этому «я есмь», сладострастью бытия, и именно в силу этой любви к жизни им необходимо страданье. Поэтому я сказал, что сумма страданий лишь кажется у Достоевского большей, чем у всех других писателей. Ибо, если существует мир, где нет неумолимого, где из каждой пропасти есть выход, где в каждом несчастье кроется экстаз, в отчаянье – надежда, то это именно его мир. Разве не представляют собой его произведения ряд современных «Деяний апостолов», легенд о спасении от страданья силою духа? ряд обращений к вере в жизнь, восхождений на Голгофу познания? сказаний о пути в Дамаск через наш мир?

В произведениях Достоевского человек борется за свою последнюю истину, за свое всечеловеческое «я». Совершается ли убийство, или женщина воспламеняется любовью – все это второстепенно, это внешность, кулисы. Его роман разыгрывается в человеческих глубинах, в душевном пространстве, в духовном мире: случайности, события, происшествия внешней жизни – лишь реплики, театральные машины, сценическое обрамление. Трагедия – вся внутри. И всегда она означает преодоление препятствий, борьбу за истину. Каждый из его героев спрашивает себя, как сама Россия: кто я? чего я стою? Он ищет себя или, скорее, превосходную степень своего существа – вне границ, вне пространства, вне времени. Он хочет познать себя таким, каким он предстанет перед Богом, и хочет себя исповедать. Ибо для каж-

дого из героев Достоевского истина – больше чем потребность; она для него – экссесс, сладострастие, и признание – самое святое наслаждение, судорога. У героев Достоевского признание – это прорыв внутреннего человека, всечеловека, Божьего человека сквозь земное начало, прорыв истины, Божества сквозь плотскую оболочку существования. О, с каким сладострастием играют они признанием, то утаивая его – как Раскольников перед Порфирием Петровичем, – то таинственно показывая, то снова пряча его и вновь исступленно признаваясь в истине большей, чем сама истина, буйно открывая свою наготу, смешивая порок и добродетель. Здесь, именно здесь, в этой борьбе за истинное «я», достигает Достоевский высшего напряжения. Здесь, на бесконечной глубине, разыгрывается великая борьба его героев – могучая эпопея сердца: здесь, где растворяется чуждый нам русский элемент, их трагедия становится всецело нашей, общечеловеческой. Здесь разгадывается и потрясает нас общая судьба его героев, и в мистерии саморождения мы переживаем миф Достоевского о новом человеке, о всечеловеке в каждом смертном.

Мистерия саморождения. Так называю я в космогонии, в мироздании Достоевского сотворение нового человека. И я попытаюсь рассказать историю всех типов Достоевского в едином мифе; ибо все эти различные, на сотню ладов варьированные люди в конце концов имеют одну общую судьбу. Все они переживают варианты одного события: создания человека. Не нужно забывать, что искусство Достоевского направлено всегда к центру и, следовательно, в психологии – на человека внутри человека, на абсолютного, абстрактного человека, находящегося глубоко под всеми культурными слоями. Для большинства художников эти слои еще существенны, события романов обычно разыгрываются в социальной, общественной, эротической и бытовой сфере и застревают в ней. Достоевский в своем стремлении к центру всегда направляется к всечеловеку в человеке, к всечеловеческому «я». Всегда он изображает этого человека, последнего человека и его миссию, и всегда в более или менее одинаковой форме. Истоки его героев одинаковы. Как настоящие русские, они тяготеют собственной жизненной силой. В годы возмужалости, чувственного и духовного пробуждения, омрачается их свободный и светлый дух. Они смутно ощущают в себе назревающую силу, таинственный порыв; что-то скрытое, растущее и набухающее рвется из еще не созревшей оболочки. Таинственная беременность (это новый человек, зарождающийся неведомо для них) делает их мечтательными. Они сидят, замкнутые до одичалости, в душных комнатах, в уединенных углах, день и ночь размышляя о себе. Годы они высиживают в этой странной атараксии, пребывая почти в буддийском состоянии душевного оцепенения; они склоняются над собственным телом, чтобы, подобно женщине, услышать в себе биение второго сердца. Они переживают все таинственные состояния, свойственные беременностям: истерический страх перед смертью, страх перед жизнью, болезненные, жестокие желания, извращенные чувственные прихоти.

Наконец они познают, что носят в себе плод – какую-то новую идею; и вот они стараются раскрыть ее тайну. Они оттачивают свою мысль, пока она не становится острой, как хирургический инструмент; они вскрывают свое состояние; в исступленных беседах пытаются разговорить свою подавленность, напрягают мозг, чтобы размыслить ее, пока не надвигается угроза потери рассудка; тогда они заковывают все мысли в одну-единственную навязчивую идею, которую додумывают до крайних пределов, и острие этой идеи в их руках грозно обращается против них самих. Кириллов, Шатов, Раскольников, Иван Карамазов – каждый из этих одиноких людей охвачен «своей» идеей – идеей нигилизма, альтруизма, наполеоновской мировой мечты, – и все это высижено в болезненном одиночестве. Они подыскивают оружие против нового человека, который вырастает из них; гордость побуждает их к сопротивлению, хочет подавить его. Иные стремятся, искусственно возбуждая чувственность, пересилить это таинственное созревание, эту бурно бродящую жизненную скорбь. Воспользуемся тем же образом: они пытаются вытравить плод, подобно женщине, стремящейся при помощи прыжков с лестницы, танцев и ядов освободиться от нежеланного бремени. Они буйствуют, чтобы заглушить

в себе это тихое журчание, иногда они губят себя, лишь бы погубить и этот зародыш. Они намеренно опускаются в эти годы. Они играют, пьют, развратничают, – и все это (иначе они не были бы героями Достоевского) с фанатическим иступлением. Скорбь гонит их к пороку, а не притупившаяся похоть. Они пьют не ради удовольствия и крепкого сна, как немцы, а ради самого опьянения, ради забвения своего безумия, играют не ради денег, а только чтобы убить время, развратничают не для услады, а для того, чтобы в излишестве потерять свою истинную меру. Они хотят знать, кто они, и потому ищут границы. Они перегревают и охлаждают себя, чтобы познать крайние пределы своего «я» и прежде всего – измерить собственную глубину. В своих наслаждениях они возносятся к Божеству, опускаются до уровня зверя, – но всегда с одной целью: определить в себе человека. Или, не зная себя, они пытаются, по крайней мере, проявить себя. Коля ложится под поезд, чтобы проявить свою храбрость, Раскольников убивает старуху, чтобы доказать свою теорию о Наполеоне, – все они совершают больше, чем хотели первоначально, – лишь бы достигнуть крайнего предела чувства. Чтобы познать свою глубину, границу своей человечности, они бросаются в каждую пропасть: от чувственности к распутству, от распутства к жестокости, и все ниже и ниже – до холодной, бездушной, расчетливой злобы, – но все это во имя преображенной любви, жажды познания собственного существа, своего рода преображенного религиозного иступления. От мудрой трезвости они бросаются в водоворот безумия, их духовная любознательность становится извращением чувств, их преступления простираются до изнасилования детей и убийства, но типична для них повышенная неудовлетворенность в повышенном наслаждении: в самых глубоких безднах их неистовства вспыхивает пламя сознательного фанатического раскаяния.

Но чем больше они неистовствуют в излишествах чувственности и мысли, тем скорее они приближаются к себе, и чем больше стремятся погубить себя, тем вернее находят себя. Их печальные вакханалии – лишь судороги, их преступления – схватки саморождения. Разрушая себя, они разрушают лишь оболочку, скрывающую внутреннего человека, и достигают спасения души в высшем смысле слова. Чем больше их напряжение, чем больше они извиваются и корчатся в муках, тем больше они бессознательно способствуют акту рождения. Ибо только в самой жгучей боли может появиться на свет новое существо. Нечто огромное, необычайное должно прийти освободить их, какая-то могущественная сила должна стать повитухой в самый тяжелый час; на помощь должна явиться милость, всеобъемлющая любовь. Необычайное деяние, преступление, преображающее в отчаяние все их чувства, нужно, чтобы породить чистоту. И тут, так же как и в действительной жизни, всякое рождение окаймлено смертельной опасностью. Самые крайние силы человеческой природы, смерть и жизнь, тесно сплетаются в этот миг.

Человеческий миф Достоевского в том и заключается, что смешанное, тусклое, многоликое «я» каждого отдельного человека оплодотворено зародышем истинного человека (первобытного человека средневекового мировоззрения, человека, еще не обремененного первородным грехом), стихийного, Божественного существа. Дать этому предвечному человеку взойти из бренной плоти культурного человека – высшая задача и самый важный земной долг. Оплодотворен каждый, ибо жизнь никого не отталкивает, каждого земного человека она восприняла с любовью в некий благословенный миг, но не всякий рождает свой плод. У иных он загнивает в духовной вялости, он отмирает и отравляет их самих. Другие умирают в муках, едва дитя, идея, появляется на свет. Кириллов – один из тех, кто должен убить себя, чтобы остаться правдивым, Шатов – из тех, кто должен быть убитым, чтобы была оправдана его истина.

Но остальные героические образы Достоевского – старец Зосима, Раскольников, Рогожин, Дмитрий Карамазов – уничтожают свое социальное «я», жалкую личину человеческой природы, чтобы, подобно бабочке, сбросив мертвый кокон, стать из пресмыкающегося существа крылатым, взлетающим из ползающего по земле. Кора душевной косности разбивается, душа, всечеловеческая душа льется, переливается в беспредельность. все личное, все индиви-

дуальное сброшено с них; этим объясняется и абсолютное сходство всех этих образов в миг свершения. Алешу едва можно отличить от старца, Карамазова от Раскольникова, когда «из мрака мирской злобы», обливаясь слезами, они вступают в сияние новой жизни. В конце всех романов Достоевского является катарсис греческой трагедии, великое очищение: над прошумевшими грозами в прозрачном воздухе торжественно сияет радуга, для русского высший символ примирения.

Только создав в себе чистого человека, герои Достоевского вступают в круг истинного общения. У Бальзака герой торжествует, когда он побеждает общество; у Диккенса, – когда он мирно приспособляется к социальному слою, находит свое место в буржуазном кругу, находит семью, призвание. Общение, к которому стремится герой Достоевского, уже не социальное, а религиозное: он ищет не общества, а мирового братства. И ступени, ведущие к собственным глубинам, а вместе с тем и к мистическому общению, – единственная иерархия в его произведениях. Только о последнем человеке говорят все его романы: социальные, переходные стадии общения с их ложной гордостью и мелкой злобностью преодолены; индивидуум, человек своего «я», стал всечеловеком; его одиночество, его обособленность, которая была лишь гордостью, сломлена, и с беспредельным смирением и пламенной любовью его сердце приветствует брата, чистого человека в каждом другом человеке. Этот очищенный, последний человек уже не знает различий, забывает о социальном положении: голая, как в раю, его душа не знает ни стыда, ни гордости, ни ненависти, ни презрения. Преступник и проститутка, убийца и святой, князь и пьяница ведут беседу, встречаясь в самых глубоких, самых подлинных слоях своего существа; все пласты сливаются – сердце к сердцу, душа к душе. Решающее значение у Достоевского имеет вопрос: насколько человек искренен, и какой степени человечности он достиг. Безразлично, как произошло это очищение, это извлечение своего «я». Никакое распутство не порочит, никакое преступление не губит: нет другого суда перед Богом, кроме совести. Праведность и неправедность, добро и зло – эти слова расплавляются в огне страданий. Кто искренен в желании, тот чист: ибо кто искренен, тот исполнен смирения. Тот, кто познал все, понимает и знает, что «законы духа человеческого столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть даже лекарей, ни даже судей окончательных»; знает, что никто не виновен, или все виновны, что никто не имеет права быть судьей, каждый должен быть лишь братом. Поэтому в космосе Достоевского нет безвозвратно отвергнутых, нет «злодеев», нет ада и нет того последнего круга Данте, из которого даже Христос не может поднять осужденных. Он знает только чистилище и понимает, что в заблуждающемся человеке больше душевного пламени и близости к истинному человеку, чем у гордых, холодных и корректных людей, в груди которых истинный человек оледенел в буржуазной законности. Его истинные люди страдают, благоговеют перед страданием и потому владеют последней тайной жизни. Кто страдает, того сострадание делает братом, и все герои Достоевского, благодаря тому, что их взор обращен на внутреннего человека, на брата, чужды страха. Они обладают возвышенной способностью, которую он однажды назвал типично русской: они не умеют долго ненавидеть; поэтому они обладают неограниченным пониманием всего земного. Они еще ссорятся между собой, еще мучаются, они стыдятся собственной любви, считают свое смирение слабостью и не подозревают еще, что это величайшая сила человечества. Но их внутренний голос уже предчувствует истину. Понося друг друга словами и враждуя, они внутренним оком смотрят друг на друга в блаженном понимании, и в братском сострадании соединяются их уста. Обнаженный, вечный человек в них познал себя и таинство всепрощения в братском узнавании, это орфическое созвучие душ является лирической музыкой в мрачных творениях Достоевского.

Реализм и фантастика

Истину, непосредственную реальность своего ограниченного бытия, ищут герои Достоевского; истину, непосредственную сущность вселенной, ищет сам художник – Достоевский. Он реалист и весьма последовательный реалист: ведь он всегда доходит до того крайнего предела, где каждая форма так таинственно уподобляется своей противоположности, что эта действительность всякому обыденному, привыкшему к среднему уровню взору представляется фантастичной. «Что бы вы ни изобразили, все выйдет слабее, чем в действительности», говорит он сам. Действительность «превышает все, что могло создать ваше собственное воображение». Истина – ни у одного художника это не выражено так ярко, как у Достоевского, – стоит не позади, а как бы напротив вероятности. Она выходит за кругозор обычного, психологически неискушенного взора: как в капле воды невооруженный глаз видит лишь ясное, зеркальное единство, а микроскоп – кипучее многообразие, хаос мириадов инфузорий, целый мир там, где улавливалась лишь одна единичная форма, – так и художник высшим реализмом познает истины, которые кажутся нелепыми в сравнении с очевидностью.

Познавать эту высшую или эту более глубокую истину, как бы скрытую глубоко под кожей вещей, у самого сердца бытия, – было страстью Достоевского. Он хочет познать человека одновременно как единство и как многообразие, простым и обостренным, но в том и другом случае одинаково верным зрением; потому его ясновидящий и мудрый реализм, соединяющий силу микроскопа и зоркость пророка, как бы стеной отделен от того, что французы называли искусством действительности и натурализмом. И хотя Достоевский в своих анализах точнее и глубже, чем кто-либо из тех, кто называл себя «последовательными натуралистами» (этим они хотели сказать, что дошли до предела, в то время как Достоевский всегда его переходит), его психология появляется как бы из другой сферы творческого духа. Точный натурализм со времени Золя отправляется прямо от науки. Перевернутая экспериментальная психология, он словно спаян с трудом и потом, с изучением и экспериментом. Флобер подвергает перегонке в реторте своего мозга две тысячи книг Парижской национальной библиотеки, чтобы найти естественный колорит «Искушения» или «Саламбо»; Золя в течение трех месяцев, прежде чем сесть за свой роман, как репортер, ходит с записной книжкой на биржу, в магазины и ателье, чтобы зарисовать модели, собрать факты. Действительность для этих копировщиков мира – холодная, исчислимая, легко доступная субстанция. Они смотрят на вещи настороженным, взвешивающим, высчитывающим взором фотографа. Холодные ученые в искусстве, они собирают, распределяют, перемешивают и перегоняют отдельные элементы жизни и занимаются своего рода химией соединений и растворов.

Процесс художественного наблюдения у Достоевского неотделим от сферы сверхъестественного. Если для иных искусство – наука, то для него оно – черная магия. Он занимается не экспериментальной химией, а алхимией действительности, не астрономией, а астрологией души. Он не холодный исследователь. В страстных галлюцинациях он пристально всматривается в глубины жизни, как в демонический, кошмарный сон. И все же его пестрые видения совершеннее, чем упорядоченные наблюдения других. Он не собирает, но у него есть все. Он не вычисляет, и все же его измерения безошибочны. Его диагнозы, плод ясновидения, без ощупывания пульса в лихорадке явлений схватывают тайну их происхождения. Есть в его знании нечто от ясновидческого толкования снов и нечто от магии в его искусстве. Как чародей, он проникает сквозь кору жизни и высасывает ее обильные, сладкие соки. Всегда его взгляд исходит из глубины его собственного всеведущего бытия, из мозга и нерва его демонической натуры, и все же в правдивости, в реальности превосходит всех реалистов. Все он мистически познает изнутри. Ему достаточно намек, чтобы крепко зажать в руке весь мир. Достаточно взгляда, чтобы этот мир стал образом. Ему не приходится много рисовать, тянуть обоз

подробностей. Он рисует волшебством. Вспомним великие образы этого реалиста – образы Раскольникова, Алеши и Федора Карамазовых, Мышкина. С какой невероятной конкретностью живут они в нашем восприятии! Где он их описывает? В каких-нибудь трех строках, точно наспех, набрасывает он их облик. Он словно подает реплику, описывает их лицо в четырех, пяти простых фразах, – и это все. Возраст, профессия, звание, одежда, цвет волос, мимика – все эти признаки, казалось бы, столь существенные для описания личности, переданы со стенографической краткостью. И вместе с тем как ярко горит каждый из этих образов в нашей крови! Сравним теперь с этим магическим реализмом точное описание у последовательного натуралиста. Золя, прежде чем начать работу, составляет подробный каталог своих образов, сочиняет (и теперь еще можно обозревать эти удивительные документы) форменное описание примет, паспорт для каждого, кто переступает порог романа. Он измеряет его рост с точностью до сантиметра, записывает, скольких зубов у него недостает, подсчитывает бородавки на его лице, гладит бороду, чтобы узнать, жестка она или мягка, замечает каждый прыщик на коже, ощупывает ногти, знает голос, дыхание своих персонажей, их наследство и наследственность, раскрывает банковский счет, чтобы узнать их доходы. Он измеряет все, что измеримо снаружи. И все же, как только эти образы начинают двигаться, улетучивается их цельность, искусственная мозаика разбивается на тысячи осколков. Остается душевная расплывчатость, а не живой человек.

В этом ошибка их искусства: французские натуралисты, начиная роман, дают точное описание человека в состоянии полного покоя, словно он находится в духовном сне, и потому эти образы обладают ненужной верностью маски, снятой с покойника. Видишь мертвую фигуру, но не ощущаешь в ней жизни. Но именно там, где кончается этот натурализм, начинается страшный в своем величии натурализм Достоевского. Его люди становятся пластичными только в моменты возбуждения, страсти, повышенного состояния. В то время как натуралисты пытаются изображать душу через тело, он строит тело с помощью души: когда страсть напрягает черты, глаза увлажняются в ярком переживании, когда спадает маска буржуазного покоя, душевное оцепенение, – только тогда его образ становится действительно образным. Лишь в ту минуту, когда его персонажи воспаляются, приступает духовидец Достоевский к их созиданию.

Итак, преднамеренно, а не случайно всякий образ у Достоевского обрисовывается сперва в неясных, как бы призрачных очертаниях. В его романы вступаешь, как в темную комнату. Виднеются лишь контуры, слышатся неясные голоса, и сразу не определишь, кому они принадлежат. Лишь постепенно привыкает, обостряется зрение; и тогда, будто с картины Рембрандта, из глубокого сумрака струятся тонкие духовные флюиды. Лишь охваченные страстью, выступают из мрака люди. У Достоевского человек должен воспламениться, чтобы стать видимым, его нервы должны быть натянуты до предела, чтобы зазвучать. Тело у него создается вокруг души, образ – только вокруг страсти. Только теперь, когда они как бы подождены, когда они приходят в это удивительное состояние (ведь все герои Достоевского – олицетворение лихорадочного состояния), выступает на сцену его демонический реализм, начинается волшебная охота за подробностями; теперь он выслеживает малейшие движения, отмечает каждую улыбку, заползает в лисьи норы смятенных чувств, доходит по следам их мыслей вплоть до призрачного царства подсознательного. Каждое движение пластично выделяется, каждая мысль становится кристально ясной, и чем крепче опутаны загнанные души сетью трагизма, тем ярче они освещены внутренним огнем, тем прозрачнее становится их сущность. Самые неуловимые, потусторонние, болезненные, гипнотические, иступленные, эпилептические переживания обладают у Достоевского точностью клинического диагноза, четкими контурами геометрической фигуры. Ни один нюанс не пропадает, ни малейшее колебание не ускользает от его обостренных чувств: именно там, где другие художники умолкают, где они, точно ослепленные сверхъестественным светом, отводят взор, – там реализм Достоевского обнаруживается с

наибольшей яркостью. И эти мгновения, когда человек достигает крайних границ своих возможностей, когда знание становится почти безумием, а страсть – преступлением, – эти минуты воскресают в его романах как незабываемые видения. Попробуем вызвать в своей памяти образ Раскольникова: мы увидим его не двадцатипятилетним студентом-медиком, бродящим по улицам или по комнате, носителем тех или иных внешних особенностей, – в нас встает драматическое видение его заблудшей страсти, когда, с дрожащими руками, с выступившим на лбу холодным потом, с невидящими глазами, он пробирается по лестнице дома, в котором он совершил убийство, и в таинственном трансе дергает звонок у дверей убитой, чтобы еще раз чувственно насладиться своими мучениями. Мы видим Дмитрия Карамазова в чистилище допроса, задыхающегося от гнева и от страсти, неистово бьющего по столу кулаком. У Достоевского человек становится художественным образом лишь в состоянии высшего возбуждения, на кульминационной точке чувств. Как Леонардо в своих грандиозных карикатурах рисует гротески тела, физическое уродство там, где оно выходит за пределы обыденного, так Достоевский схватывает человеческую душу в мгновения избытка, в те мгновения, когда человек словно наклоняется над краем своих возможностей. Среднее состояние ему ненавистно, как всякая гладкость, как всякая гармония: только необычайное, скрытое, демоническое приводит его художественную страсть к крайнему реализму. Он ни с кем не сравнимый ваятель необычайного, величайший анатом раздраженной и больной души, которого когда-либо знало искусство.

Таинственное орудие, которым Достоевский проникает в глубь людей, это – слово. Гете все изображает зрительно. Он удачнее всех определил эту особенность; Вагнер – человек глаза; Достоевский – человек слуха. Он должен раньше всего услышать речь своих героев, заставить их говорить, чтобы мы могли ощутить их зрением, и Мережковский прекрасно выразил это в своем гениальном анализе двух создателей русского эпоса: у Толстого мы слышим, потому что видим, у Достоевского видим, потому что слышим. Его люди тени и призраки, пока они не заговорили. Слово – влажная роса, оплодотворяющая их душу: только в речи они раскрывают свои тайники, – словно какие-то фантастические цветы показывают свои краски, свою оплодотворяющую пыльцу. В спорах они разгораются, пробуждаются из своей душевной дремоты, а только к бодрствующему и страстному человеку направлена, как я уже говорил, художественная страстность Достоевского. Он выманивает слово у них из души, чтобы схватить самую душу. Сверхъестественная психологическая зоркость Достоевского в конце концов не что иное, как неслыханная острота слуха. Мировая литература не знает более совершенных пластических творений, чем речи героев Достоевского. Символичен порядок слов, характерен строй предложений, ничто не случайно: необходим каждый отдельный слог, каждый вырвавшийся звук, существенна каждая пауза, каждое повторение, каждое дыхание, каждая обмолвка; за высказанным словом всегда слышится подавленный резонанс: это бьют волны скрытого душевного прилива. Из речей героев Достоевского вы узнаете не только то, что говорит каждый из них, что он хотел бы сказать, но и то, о чем он умалчивает. И этот гениальный реализм духовного слуха сопровождает его на всех таинственных путях слова – на вязкой, болотистой равнине пьяного бреда, в окрыленном, задыхающемся экстазе эпилептического припадка, в непроходимой чаще лжи. В парах кипучей речи возникает душа, из души постепенно кристаллизуется тело. Совершенно незаметно сквозь дым слов, сквозь гашиш речи встает в романах Достоевского видение телесного облика говорящего. Если другие создают образ прилежной мозаикой, красками, рисунком, то у него образ – сгущение слова. О людях Достоевского как бы гредишь в ясновидении, слыша их речь. Достоевскому нет надобности графически зарисовывать их: под гипнозом речи мы сами становимся духовидцами. Приведу пример. В «Идиоте» старый генерал, патологический лжец, идет рядом с князем Мышкиным и делится с ним своими воспоминаниями. Он начинает лгать, скатывается все глубже и глубже и, наконец, совершенно увязает в своем вранье. Он говорит, говорит, говорит. Страницами льется его ложь.

Достоевский приводит только слова генерала, но его манера говорить, его паузы, беспокойство, его нервная торопливость дорисовывают картину: я вижу, как он идет рядом с Мышкиным, как он запутывается во лжи, вижу, как он подымает глаза, осторожно сбоку поглядывает на князя, чтобы убедиться, что он верит ему, как он останавливается в надежде, что князь его оборвет; я вижу, как пот выступает на его лбу, вижу черты его лица, одушевленные восторгом в начале рассказа, а теперь все больше искажающиеся страхом; вижу, как он съеживается, словно собака в ожидании удара, и вижу князя, который в самом себе ощущает это напряжение лжеца и старается подавить его. Где это описано у Достоевского? Нигде, ни в одной строке, и все же со страстной ясностью я вижу каждую морщинку на его лице. Где-то в речи, в модуляциях голоса, в сопоставлении слогов кроются чары духовидения; и так волшебным это искусство, что даже при неизбежном огрубении, которое приносит с собой перевод на чужой язык, свободно парит душа его героев. Весь характер героя у Достоевского – в ритме его речи. И это сгущение характеристики обычно достигается в его гениальной интуиции какой-нибудь мелкой деталью, нередко одним словом. Когда Федор Карамазов на конверте, предназначенном для Грушеньки, приписывает к ее имени: «и цыпленочку», – то видишь перед собой лицо старого развратника, видишь гнилые зубы, сквозь которые льется слюна на ухмыляющиеся губы. И если в «Записках из Мертвого дома» садист-поручик при ударах палками приговаривает «лупи, лупи», – то в этой крохотной черточке проглядывает весь его характер, жгучая картина, прерывистое дыхание вождения, пылающий взор, побагровевшее лицо, одышка злобного наслаждения. Эти маленькие реалистические подробности у Достоевского, которые, как острые рыболовные крючки, проникают в чувство и непреодолимо втягивают в чужие переживания, – это самый изысканный художественный прием Достоевского и вместе с тем высшее торжество интуитивного реализма над программным натурализмом. Однако Достоевский не расточает эти детали. Он пользуется одною там, где другие применяют сто, но со сладострастной утонченностью он накапливает эти маленькие жестокие детали последней истины и поражает ими в момент высшего экстаза, когда их меньше всего ожидаешь. Неумолимой рукой он вливает каплю земной желчи в кубок экстаза: быть правдивым и искренним значит для него – действовать антиромантически и антисентиментально. Ни на одну минуту не надо забывать, что Достоевский не только пленник своего контраста, но и проповедник его. Им и в искусстве владеет страсть сочетать две предельные плоскости жизни – самую жестокую, обнаженную, самую холодную и грязную действительность с самыми благородными возвышенными мечтами. Он хочет, чтобы во всем земном мы ощущали Божественное, в реальном – фантастическое, в возвышенном – обыденное, в благородстве духа – горькую соль земли, – и все это одновременно. Он хочет, чтобы наше наслаждение было так же двойственно, как двойственны его переживания; он и здесь не хочет гармонии, не хочет гладкости. Во всех его произведениях есть эта острая двойственность: сатанинской детальностью анализа он взрывает самые возвышенные мгновения, издеваясь над банальностью самого святого в жизни. Чтобы иллюстрировать этот момент контраста, я напомним трагические страницы «Идиота». Убив Настасью Филипповну, Рогожин ищет Мышкина, брата. Он встречается его на улице, трогает его за локоть. Им не приходится говорить друг с другом, все предугадано в жутком чувстве. По разным сторонам улицы они направляются в дом, где лежит убитая. Ширится какое-то необычайное предчувствие величия и торжественности, слышится музыка сфер. Враги в жизни, братья по чувству, они входят в комнату убитой. Настасья Филипповна лежит мертвая. Кажется, что теперь эти люди, здесь, с глазу на глаз, у трупа женщины, разъединявшей их, скажут друг другу все. И вот начинается разговор, – и небо разбивается об эту обнаженную, грубую, жгуче-земную, дьявольскую душевную материю. Они говорят прежде всего и единственно о том, будет ли пахнуть труп. И Рогожин с потрясающей деловитостью сообщает, что он накрыл труп «хорошей американской клеенкой» и поставил «четыре склянки ждановской жидкости».

Вот эти детали я называю у Достоевского садизмом, дьявольщиной, ибо здесь реализм больше, чем простой технический прием: он является метафизической мстью, вспышкой таинственного сладострастия – насильственного иронического разрушения чар. «Четыре склянки»! – эта математичность цифры, «американская клеенка»! – жуткая точность деталей, – это нарочитое разрушение душевной гармонии, жестокий бунт против единства чувств. Здесь истина, превосходя себя, становится эксцессом, пороком и мучением, и эти ужасающие прыжки с небесной высоты чувства в грязные камнеломни действительности сделали бы Достоевского невыносимым, если они не уравновешивались бы противоположным контрастом, если бы он не создавал столь же необычайный экстаз в самых грязных углах действительности. Нужно лишь вспомнить мир Достоевского. Он, в социальном отношении, – червоточина; он расположен у сточной трубы жизни, в самых тусклых слоях бедности и злосчастия. Сознательно (он не только антисентиментален: он антиромантичен) Достоевский переносит свою инсценировку в гущу банальности. Грязные подвалы, пропахшие пивом и водкой, душные, узкие гробы комнат, разделенные деревянной перегородкой, – никогда не салоны, не отели, не дворцы, не конторы. И его герои внешне нарочито «неинтересны» – чахоточные женщины, оборванные студенты, бездельники, моты, тунеядцы, – никогда не социально значимые личности. И как раз в этой тусклой обыденности разыгрываются у него величайшие трагедии эпохи. Из ничтожного волшебным образом возникает возвышенное. Нет в его произведениях ничего более демонического, чем этот контраст внешнего убожества и душевного опьянения, бедности обстановки и расточительности сердца. Пьяные люди в трактирах возвещают наступление третьего царства, его святой – Алеша – выслушивает глубокомысленную легенду от распутной женщины, сидящей у него на коленях, в игорных и публичных домах совершаются апостольские деяния благовестия и милосердия, и самая возвышенная сцена «Преступления и наказания», когда убийца падает ниц, склоняясь перед страданием всего человечества, разыгрывается в комнате проститутки, в квартире заики-портного Капернаумова.

Его страсть, словно непрерывный переменный поток, холодный или горячий, но только не теплый, – совсем в духе Апокалипсиса, – насыщает кровообращение жизни. Во френезии контрастов поэт всегда ставит лицом к лицу возвышенное с банальным, бросает от волнения к волнению возбужденные чувства. Поэтому в романах Достоевского никогда не обретаешь покоя, не находишь нежного музыкального ритма, никогда он не позволяет дышать ровно, – все время беспокойно перебрасываешься из стороны в сторону, как под разрядами электричества, – со все возрастающим жаром, беспокойством, любопытством. Пока мы находимся под влиянием его поэтической мощи, мы сами уподобляемся ему. Как в себе самом, вечном дуалисте, человеке, пригвожденном ко кресту разлада, так и в своих героях, так и в читателе Достоевский разрывает единство чувств.

Это остается вечной особенностью его творчества, и не подобало бы определять ее ремесленным словом «техника», ибо это искусство исходит непосредственно от личности Достоевского, от жгучего исконного разлада его чувств. Его мир – очевидная истина и в то же время тайна, ясновидение действительности, наука и магия в одно и то же время. Самое непостижимое становится понятным, самое понятное – непостижимым; проблемы переливаются через край возможностей, и все же никогда они не становятся бесформенными. С неслыханной силой фантастически реальные детали приковывают его образы к земному, ни один из них не ускользает в призрачный мир. Достоевский в ясновидении ощущает сущность своего героя до последнего сплетения его нервных волокон; он опускается с ним на морскую глубину его грез, проникает в лихорадочный трепет его страсти, пронизывает его опьянение; ни одна мысль, ни одна вибрация душевной субстанции не ускользает от него. Звено за звеном кует он психологическую цепь вокруг пленников искусства. У него нет психологических заблуждений, нет узлов, которые не становились бы прозрачными для его ясновидящей логики. Ни одной ошибки, ни одного противоречия внутренней правде. Он воздвигает художественные здания разума и

ясновидения, необъятные и неколебимые. Диалектический поединок Порфирия Петровича с Раскольниковым, архитектура преступлений, логический лабиринт Карамазовых – это бесподобная умственная архитектура, безошибочная, как математика, и пьянящая, как музыка. Высшие силы разума и духовной зоркости рожают здесь новую истину, глубину, какой еще не знал человеческий дух.

Но все же – вопрос требует ответа, – почему, невзирая на сверхъестественную полноту действительности, творчество Достоевского, так глубоко земное творчество, производит на нас неземное действие, – словно мир, расположенный рядом с нашим миром или над ним, но не наш мир? Почему, переживая в нем самые сокровенные наши чувства, мы все же словно чужие в нем? Почему во всех его романах горит какой-то искусственный свет и пространство его – будто призрачное пространство? Почему этот крайний реалист кажется нам скорее сомнамбулой, чем изобразителем действительности? Почему, несмотря на всю горячность, даже пламенность, в них вместо плодотворного солнечного тепла чувствуется какое-то причиняющее боль северное сияние, кровавое и ослепительное? Почему мы ощущаем это бесконечно правдивое изображение жизни не как самую жизнь? не как нашу собственную жизнь?

Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Высший масштаб измерения подобает Достоевскому, и его можно оценивать сравнительно с самыми возвышенными, самыми неуязвимыми творениями мировой литературы. Для меня трагедия Карамазовых не менее значительна, чем сплетения Орестеи, чем эпос Гомера, чем возвышенные очертания творчества Гете. Все они, эти произведения, даже наивнее, проще, не столь чреваты будущностью, как произведения Достоевского. Но они как-то мягче, отраднее для души, они дают освобождение чувству, в то время как Достоевский дает лишь познание. Мне кажется: этому разрешающему действию они обязаны тем, что они не столь человечески, а просто человечны. Они окружены святой рамкой сияющего неба, мира, дыханием лугов и полей, в которых может укрыться и свободно вздохнуть запуганное чувство. У Гомера среди битв и кровавой борьбы находишь несколько описательных строк – и вдыхаешь соленый ветер с моря, видишь сияние серебряного света Эллады над кровавой обителью, и успокоенным чувством познаешь призрачность человеческой борьбы в сравнении с вечной сущностью вещей. И – свободно вздыхаешь, разрешаясь от человеческой печали. И у Фауста есть Светлое Воскресенье, когда растворяются его муки в раскрытой природе, когда восторг его рвется навстречу мировой весне. Во всех этих произведениях природа освобождает от человеческого мира. Но у Достоевского нет ландшафта, нет разряда. Его космос – не мир, а только человек. Он глух для музыки, слеп к картинам, равнодушен к ландшафту: ценой неимоверного безразличия к природе, к искусству куплено его непостижимое, несравнимое знание человека. А всему только человеческому свойственна ущербность и неполнота. Его Бог живет только в душе, а не в вещах; у него нет драгоценного зерна пантеизма, сообщающего немецким и эллинским произведениям способность успокаивать и разрешать. У Достоевского действие разыгрывается в непроветренных комнатах, на грязных улицах, в дымных кабаках, наполненных тяжелым человеческим, слишком человеческим воздухом; нет у него порывистого освежающего ветра и смены времен года. Попробуйте вспомнить: в его крупных произведениях – в «Преступлении и наказании», в «Идиоте», в «Карамазовых», в «Подростке» – в какое время года, в какой местности происходит действие? Летом, весной или осенью? Может быть, об этом где-нибудь и сказано. Но этого не чувствуешь. Не вдыхаешь, не осязаешь, не ощущаешь, не переживаешь этого. Они разыгрываются где-то во мраке сердца, временами озаряемом молнией познания, в безвоздушной области мозга, лишенной звезд и цветов, тишины и молчания. Дым большого города омрачает небо их души. Им недостает точки опоры для освобождения от человеческого; в них нет блаженных разрядов, самых ценных для человека, когда он отводит взор от себя и от своих страданий и обращает его на бесчувственный, бесстрастный мир. Это – тень в его книгах: его образы как бы сняты с серой стены нищеты и мрака; чуждые свободы и ясности, они вращаются не в реальном мире, а

только в беспредельности чувства. Его сфера – душевный мир, а не природа, его мир – только человечество.

Но и человечество его – как бы изумительно правдив ни был каждый человек в отдельности, как бы безошибочен ни был его логический организм, – в целом, в известном смысле, неестественно: какая-то призрачность присуща его образам, их шаги как бы вне пространства, точно шаги теней. Этим я не хочу сказать, что они не правдоподобны. Психология Достоевского безупречна, но его люди не пластичны, ибо они исследованы и прочувствованы с возвышенной точки зрения: они сотканы только из души и лишены плоти. Героев Достоевского мы знаем исключительно как превращающееся и превращенное чувство; это – существа из нервов и души, почти забываешь, что у них кровь течет по жилам, что у них есть тело. На двадцати тысячах страниц его сочинений нигде не сказано, как сидит кто-нибудь из его героев, как он ест, пьет: они только чувствуют, говорят и борются. Они не спят (иногда лишь грезят в ясновидении), не отдыхают, они пребывают в постоянной лихорадке, постоянно размышляют. Они никогда не прозябают, как растения, как звери, – всегда они в движении, всегда возбуждены, напряжены и всегда, всегда бодрствуют. Более чем бодрствуют: всегда они пребывают в превосходной степени своего бытия. Они все обладают душевной дальностью Достоевского, все они ясновидящие, телепаты, духовидцы, все – пифические люди и все пропитаны до последних глубин существа психологическим знанием. В обыденной, банальной жизни большинство людей – не нужно об этом забывать – находятся в конфликте друг с другом и с судьбой лишь потому, что они друг друга не понимают, что им свойственен лишь земной рассудок. Шекспир, другой великий психолог человечества, строит половину своих трагедий на этом врожденном непонимании, на этом фундаменте мрака, который лежит роковым камнем преткновения между человеком и человеком. Лир не доверяет своей дочери, ибо не подозревает об ее благородстве, о скрытом за стыдливостью величии ее любви; Отелло избирает себе в наперсники Яго; Цезарь любит Брута, своего убийцу, – все они во власти подлинной природы человеческого мира – заблуждения. У Шекспира, как и в действительной жизни, недоразумение, земное несовершенство становится производительной силой трагизма, источником всех конфликтов. Но герои Достоевского, сверхзнающие, – они не ведают недоразумений. Каждый пророчески знает другого, они понимают друг друга беспредельно, до последних глубин, они высасывают слово из уст друг у друга раньше, чем оно произнесено, и мысль – из материнского лона ощущения. Они чувствуют, они предугадывают друг друга, они никогда не разочаровываются, никогда не удивляются, каждая душа таинственным чутьем схватывает сущность другой. У них чрезмерно развито неосознанное, подсознательное; все они пророки, все провидцы и духовидцы. Достоевский отяготил их своим собственным мистическим проникновением в бытие и познание. Для пояснения я приведу пример. Рогожин убивает Настасью Филипповну. С первой встречи с ним, в каждый час любви, она знает, что он ее убьет; она убегает от него именно потому, что знает это, и возвращается, потому что стремится к своей судьбе. Она за несколько месяцев уже знает нож, который пронзит ее грудь. И Рогожин знает это, и ему, так же как и Мышкину, знаком этот нож. Его губы задрожали, когда он однажды замечает, что Рогожин играет этим ножом. Также и при убийстве Федора Карамазова всем ведомо то, чего никто не может знать. Старец падает на колени, потому что чувствует преступление; даже насмешник Ракитин умеет отгадывать события по этим признакам. Алеша, прощаясь с отцом, целует его в плечо, – чувство подсказывает ему, что он его больше не увидит. Иван едет в Чермашню, чтобы не быть свидетелем преступления. Грязный Смердяков предсказывает ему это с улыбкой. Все, все, обремененные пророческим знанием, неестественным в своем великом многообразии, знают и день, и час, и место убийства. Все они пророки, все знающие наперед все. постигающие.

Здесь, в психологии, вновь познается двойственность формы всякой истины для художника. Хотя Достоевский знает человека глубже, чем кто-либо знал до него, все же Шекспир

превосходит его, как знаток человечества. Он познал неоднородность бытия, обыденное и безразличное поставил рядом с грандиозным, тогда как Достоевский каждого единичного человека возносит в беспредельность. Шекспир познал мир во плоти, Достоевский в духе. Его мир, быть может, совершеннейшая галлюцинация мира, глубокий и пророческий сон о душе, сон, превосходящий действительность: это реализм, который, выходя из своих пределов, подымается до фантастического. Достоевский – сверхреалист, переходящий все границы; он не изобразил действительность, он ее возвысил над собой.

Итак, изнутри, только из души исходит его художественное изображение мира; изнутри связанность этого мира, и разрешенность – изнутри. Этот род искусства, самый глубокий, самый человечный, не имеет предков в литературе – ни в России, ни где-либо в мире. Это творчество связано братскими узами лишь с далеким прошлым. Его судороги и страдания иногда напоминают греческих трагиков – чрезмерностью мучений людей, извивающихся под ударами сверхчеловеческой судьбы; мистической, каменной, неизбывной душевной печалью иногда напоминает оно Микеланджело. Но как истинный брат протягивает ему руку сквозь века Рембрандт. Оба они приходят из жизни полной труда, лишений и презрения, оторванные от всех земных благ, загнанные ревнивыми стражами богатства в глубочайшие глубины человеческого бытия. Оба они знают творческий смысл контраста, знают о вечном споре мрака и света, знают, что нет красоты более глубокой, чем святая красота души, преодолевшая скудость бытия. Как Достоевский создает святых из русских крестьян, игроков и преступников, так Рембрандт рисует свои библейские фигуры с найденных в портовых переулках моделей; для обоих в самых низменных формах жизни кроется какая-то таинственная, новая красота, оба они находят своего Христа среди подонков народа. Оба знают о постоянной борьбе земных сил, о свете и о тьме, с равной мощью господствующих в физическом и в духовном мире: и тут и там свет возникает из последнего мрака жизни. Если глубже всмотреться в картины Рембрандта и в книги Достоевского, в них кроется последняя тайна мировых и духовных форм: всечеловечность. И где душа сперва замечает лишь призрачную форму, тусклую действительность, там, заглядывая глубже, в радостном познании она созерцает сияющий свет: это – священное сияние, которое мученическим венцом окружает последние явления бытия.

Зодчество и страсть

Как мало любит тот, кто любит меру!
Ла Бюсси

«У тебя сильные страсти». Эти слова Настасьи Филипповны поражают прямо в сердце всех героев Достоевского и прежде всего самого Достоевского. Только страстно может этот могучий человек встречать явления жизни и потому особенно страстно – самую страстную свою любовь: искусство. Разумеется, творческий процесс, художественное напряжение для него не спокойная, свободно созидаящая, холодно рассчитывающая работа построения. Достоевский пишет лихорадочно, так же, как лихорадочно думает, лихорадочно живет. В руке, проливающей на бумагу бегущие мелкими жемчужными нитями слова (у него быстрый, нервный почерк, как у всех горячих людей), пульс бьется учащенно, нервы судорожно вибрируют. Творчество для него – экстаз, мука, восторг и падение, сладострастие, ставшее болью, в сладострастие возведенная боль, вечная судорога, постоянно повторяющееся вулканическое извержение его мощной природы. «Со слезами» пишет двадцатидвухлетний юноша свое первое произведение «Бедные люди», и с тех пор каждая работа для него кризис, болезнь. «Я человек больной, нервный. Когда пишу что-нибудь, то даже думаю об этом и когда обедаю, и когда сплю, и когда с кем-нибудь разговариваю». И в самом деле, эпилепсия, его мистическая болезнь, со своим лихорадочным, воспаляющимся ритмом, со своим мрачным, тусклым упадком, пронизывает тончайшие вибрации его произведений. Но всегда Достоевский творит всем существом, в истерической ярости. Самые мелкие, казалось бы, безразличные его произведения – например, журнальные статьи – расплавлены и вылиты в раскаленном горниле его страсти. Он никогда не творит какой-либо отдельной, свободно действующей частью своей творческой силы – как бы сгибом руки, игрушечной легкостью техники: всегда он вкладывает в событие все свое физическое возбуждение, до последнего нерва испытывая страдания своих героев и сострадание к ним. Все его сочинения словно возникли из бешеных грозových ударов, порожденных неимоверным давлением атмосферы. Достоевский не может творить без внутреннего волнения, и о нем можно сказать словами Стендаля: «Lorsqu'il n'avait pas d'emotion, il etait sans esprit» – когда Достоевский не был страстен, он не был поэтом.

Но страстность в искусстве может быть стихией не только созидающей, но и разрушающей. Она создает лишь хаос сил, из которого ясный ум высекает вечные формы. Всякое искусство нуждается в волнении, как стимуле творчества, но, чтобы стать совершенным, оно нуждается и в рассудительно-обдуманном спокойствии размышления. Могучий ум Достоевского, врезающийся в действительность, как алмаз, знает мраморный, металлический холод, окружающий большое художественное произведение. Он любит, он обожает великое зодчество, он набрасывает великолепные масштабы, возвышенные пропорции мировой картины. Но страстное чувство всегда заливает фундамент. Вечный разлад между умом и сердцем обнаруживается и в процессе творчества, и здесь он называется противоречием архитектоники и страсти. Напрасно старается Достоевский, как художник, творить объективно, оставаться вовне, быть только повествователем и изобразителем, эпиком, докладчиком событий, аналитиком чувств. Его страсть страдания и сострадания непреодолимо втягивает его в создаваемый им мир. Нечто от изначального хаоса остается и в законченных произведениях Достоевского; никогда он не достигает гармонии («Не хочу гармонии», – кричит Иван Карамазов, постоянно выдающий самые сокровенные его мысли). И тут нет согласия, нет мира между формой и волей, и тут – о, вечная двойственность его существа, пронизывающая все формы от холодной скорлупы до пламенного ядра! – непрерывная борьба между внутренним и внешним. Вечный дуализм его существа обнаруживается в эпическом произведении борьбой между зодчеством и страстью.

Никогда Достоевский не достигает того, что технически называется «эпическим изложением», великого искусства укрощать движение событий, создавать из них спокойную картину, – искусства, которое наследственно передается от мастера к мастеру, через бесконечный ряд предков, от Гомера до Готфрида Келлера и Толстого. Страстно он строит свой мир, и только страстно, только в волнении можно им наслаждаться. Никогда не возникает в его произведениях нежное, убаюкивающее, ритмическое ощущение уюта, никогда не чувствуешь себя в безопасности, стоящим вне событий у надежного берега, созерцающим как спектакль прибой и смятение взволнованного моря. Всегда чувствуешь себя втянутым в него, вплетенным в трагедию. Как болезнь, переживаешь в крови кризисы его героев; проблемы, как воспаленные раны, жгут взволнованное сердце. Он погружает все наши чувства в раскаленную атмосферу, толкает нас на край душевной пропасти, где мы стоим изнемогая, испытывая головокружение, затаив дыхание. И только тогда наш пульс бьется в унисон с его пульсом, и мы становимся жертвой демонической страсти, – только тогда его творение становится всецело нашим достоянием, как мы становимся его достоянием. Достоевский хочет, чтобы те, кто воспринимает его эпос, испытывали такое же повышенное напряжение, как те, кого он избрал своими героями. Потребители библиотечных книг, спокойные фланеры чтения, гуляющие по панелям избитых проблем, должны отказаться от него, так же как и он от них. Только горящий, только страстно воспламененный человек, человек с раскаленными чувствами, может найти дорогу в его истинный мир.

Нельзя ни отрицать, ни скрыть, ни смягчить: отношение Достоевского к читателю не отличается друженностью, любезностью; в нем есть разлад, чреватый самыми опасными, самыми жестокими, самыми сладострастными инстинктами. Это – словно страстное слияние мужчины с женщиной, а не, как у других поэтов, дружеское и доверчивое отношение. Диккенс или Готфрид Келлер, его современники, заманивают читателя в свой мир мягким, мелодическим голосом; в дружеской беседе они вводят его в события; они возбуждают лишь любопытство, фантазию, а не будоражат, как Достоевский, всю душу. Он же, страстный, хочет завладеть нами всецело, – не только нашим любопытством, нашим интересом; он требует всю нашу душу и даже наше тело. Сперва он насыщает электричеством внутреннюю атмосферу, различными ухищрениями повышает нашу возбудимость. Создается род гипноза – растворение воли в его страстной воле: как глухое бормотание заклинателя, бесконечное и бессмысленное, окутывают ум длинные разговоры, намеки и таинственность возбуждают наше участие. Но он не хочет, чтобы мы отдавались слишком быстро; искушенный сладострастник, он растягивает пытку ожидания. В нас медленно закипает беспокойство, а он, выдвигая новые фигуры, развертывая новые картины, оттягивает развитие действия. С дьявольской силой воли он сдерживает наступление разряда, и этим безмерно увеличивает внутреннее давление, насыщенность атмосферы. И вот, чреватое роком, сгущается над нами облако трагедии (как много времени проходит в «Преступлении и наказании» прежде, чем мы узнаём, что все эти непонятные переживания Раскольникова являются подготовкой к убийству, и в то же время нервы заранее предугадывают приближение страшных событий), на небе души сверкает зарница жуткого предчувствия. Но чувственное вожеление Достоевского опьяняется утонченной медлительностью: будто уколы иглки, осторожно вонзаются в кожу ощущений маленькие намеки. Создавая дьявольское торможение, Достоевский крупным событиям предпосылает страницы мистической и демонической тоски, пока он не вызовет в способном к возбуждению человеке (только для таких людей и предназначено все это) духовной лихорадки и физической муки. Блаженство напряжения, как и всякое переживание, этот фанатик контрастов доводит до боли, и лишь когда в перегретом котле груди закипает чувство, готовое взорвать стенки, – лишь тогда он ударяет по сердцу молотом, создавая возвышенное мгновение разряда, и, подобно разрешающей молнии, слетевшей с неба, его творчество поражает самую глубину нашего сердца.

Только когда напряжение становится невыносимым, Достоевский раскрывает эпическую тайну и разрешает напряженное до предела чувство в мягко струящийся поток слез.

Так враждебно, так сладострастно окружает, осаждает Достоевский своего читателя утонченной страстностью. Не в открытой борьбе побеждает он, а как убийца, часами и часами подстерегающий свою жертву, вдруг острым мгновением пронзает сердце. Он так страстен в своем мятеже, что сомневаешься, можно ли назвать эпосом его произведения. Его техника – это техника взрыва: он не прокапывает, как чернорабочий, шаг за шагом, дорогу к своему произведению: изнутри, сгущенной до предела силой он взрывает мир – и насыщенную напряжением грудь. Его подготовительная работа проходит в подземелье, точно заговор, и, как молния, внезапно раскрывается она перед пораженным читателем. Никогда не знаешь, хотя и предчувствуешь, что идешь навстречу катастрофе; не знаешь, в котором из его героев кроется мина, с какой стороны, в какой час последует грозный разряд. От каждого действующего лица проведены шахты к центру событий, каждый заражен взрывчатым веществом страсти. Но кто подожжет фитиль (например, кто из всех отравленных одной и той же мыслью убивает Федора Карамазова) – это скрыто с необычайным искусством до последнего момента, ибо Достоевский, позволяя все предугадывать, не выдает своей тайны. Все время ощущаешь судьбу, подобно кроту, подкапывающемуся под плоскость жизни, ощущаешь, как вплотную к сердцу подводится мина, – и вот изнываешь в бесконечной напряженности, в ожидании краткого мгновения, словно молнией прорезающего душную атмосферу.

И для создания этих мгновений, для неимоверной концентрации напряжения, Достоевский в своем эпосе пользуется доселе небывалой мощью и ширью изложения. Лишь мону-ментальное искусство может достигнуть такой интенсивности, такой концентрации – только искусство первозданного величия и мифической мощи. Здесь ширь – не многословие, а зодчество: как для вершины пирамиды необходим гигантский фундамент, так для вершинных точек в произведениях Достоевского нужны огромные размеры его романов. И действительно, подобно Волге или Днепру, великим рекам его родины, текут его романы. Всем им свойственно мощное течение; медленными волнами прибывают они к берегам несметные количества людей. Тысячи страниц, заливая берега художественного изображения, уносят немало полемических галек и политических камней. Иногда там, где ослабевает вдохновение, встречаются широкие, песчаные пространства. Вот, кажется, оно уже иссякает. В прерывистом течении извиваются события, теряясь в извилинах и в излучинах, поток застревает часами на мелях разговоров, пока вновь обретет глубину и страстную стремительность.

Но вот, по мере приближения к морю, беспредельности, все чаще встречаются пороги, и растянутый рассказ сжимается в водоворот; страницы словно летят, темп становится угрожающим; душа увлечена в бездонную пропасть чувств. Вот уже чувствуется близость глубины, вот уже грохочет водопад, вся широкая, тяжелая масса вдруг обращается в пенящуюся быстрину, и, как течение рассказа, словно магнетически привлеченное водопадом, пенясь, устремляется к катарсису, так и мы невольно быстрее несемся по страницам и с разбитыми чувствами внезапно падаем в пропасть событий.

И это чувство, когда словно огромный итог жизни заключается в одну цифру, чувство крайней концентрации, мучительное и головокружительное чувство, божественное безумие склонения над собственной пропастью и предвкушения блаженства смертельного прыжка, это исключительное чувство, когда в полноте жизни ощущается смерть, – это и есть незримая вершина великой эпической пирамиды Достоевского. Все его романы, быть может, только и написаны ради мгновений этого пламенного ощущения. Двадцать или тридцать таких грандиозных картин создал Достоевский, и все они полны такой стремительной силы нагнетания страсти, что не только при первом чтении, когда они поражают как бы безоружного, но и при чтении в четвертый и в пятый раз будто огненная струя пронизывает сердце. Всегда в такое мгновение все герои романа оказываются вдруг собравшимися в одной комнате, и все они

в состоянии высшего напряжения. Все пути, все потоки, все силы магически скрещиваются и разряжаются в одном взгляде, в одном жесте, в одном слове. Я напомним сцену в «Бесах», где пощечина Шатова с ее «мокрым ударом» разрывает паутину тайны, сцену в «Идиоте», где Настасья Филипповна бросает в огонь сто тысяч рублей, или сцены признания в «Преступлении и наказании» и в «Карамазовых». В этих высших, уже нематериальных, совершенно стихийных моментах его искусства зодчество и страсть связаны тесными узами. Только в экстазе Достоевский не раздвоен, только в эти краткие мгновения он – совершенный художник. С чисто художественной точки зрения эти сцены являются несравненным торжеством искусства над человеком: только при повторном чтении замечаешь, с каким гениальным расчетом подведены все ступени к этому кульминационному пункту, с какой сознательностью распределены здесь люди и обстоятельства, магически дополняющие друг друга, как огромные многотысячные и сложные уравнения вдруг растворяются без остатка в малейшей цифре, в последнем абсолютном единстве чувств – в экстазе. В этом самая большая художественная тайна Достоевского: все его романы разрешаются на таких высотах, над которыми сгущается насыщенная электричеством атмосфера чувств и которые своим острием неминуемо притягивают молнию судьбы.

Нужно ли говорить о происхождении этой единственной в своем роде формы искусства, которой не владел никто до Достоевского и, быть может, ни один художник не будет владеть в такой степени и после него? Нужно ли говорить, что эти судороги всех жизненных сил, втиснутых в отдельные мгновения, – не что иное, как преображенная в искусство форма его собственной жизни, его демонической болезни? Никогда недуг художника не был более плодотворным, чем в этом художественном претворении эпилепсии, ибо никогда до Достоевского такая концентрация жизненной полноты в искусстве не вмещалась в столь тесные рамки пространства и времени. Он, стоявший с завязанными глазами у столба на Семеновском плацу, на протяжении двух минут переживший всю свою прошедшую жизнь, он при каждом эпилептическом припадке в мгновение между захватывающим дух головокружением и жестоким падением с кресла пролетающий в видениях целые миры, – только он мог дойти до такого искусства – в ореховую скорлупу времени вмещать целый космос событий. Только он мог демонически превращать в действительность эти невероятные мгновения взрыва с такой непреложностью, что мы едва замечаем это преодоление пространства и времени. Его произведения – истинные чудеса концентрации. Приведу только один пример. Мы читаем первую часть «Идиота», содержащую двести страниц. Перед нами пронесся вихрь судеб, предстал хаос душ, возникло множество человеческих образов. Мы прошли в их обществе ряд улиц, мы побывали в их домах, – и вдруг, случайно опомнившись, мы замечаем, что это огромное количество событий совершилось на протяжении двенадцати часов – с утра до полуночи. Точно так же фантастический мир Карамазовых втиснут в несколько дней, «Преступление и наказание» – в одну неделю, – мастерские образцы сжатости, каких не встретишь ни в одном эпосе, да и в жизни – лишь в самые редкие мгновения. Только античная трагедия Эдипа, которая в короткий промежуток, от полудня до вечера, вмещает целую жизнь и жизнь всех прежних поколений, знает это бешеное стремление от вершины к бездне, от бездны к вершине, эти безжалостные молнии судьбы и эту очищающую силу душевных гроз. Это искусство нельзя сравнить ни с одним эпическим произведением, и в решительные мгновения Достоевский действует всегда как трагик; его романы – как бы скрытые, преобразованные трагедии: «Карамазовы» – кость от кости греческой трагедии, плоть от плоти шекспировской драмы. Обнаженный стоит в них беззащитный, беспомощный гигант – человек – под трагическим небом судьбы.

И знаменательно: в эти страстные мгновения падений и подъемов роман Достоевского вдруг теряет свой повествовательный характер. Тонкая эпическая оболочка растворяется, расплавившись в огне чувства; остается лишь добела раскаленный диалог. Все главные сцены в романах Достоевского – чистейшие драматические диалоги. Можно, не прибавляя и не убавляя

ни слова, перенести их на сцену, – так крепко сколочен каждый отдельный образ, так сгущено в драматические мгновения широко разлившееся содержание романа. Чувство трагического у Достоевского, непрерывно стремясь к окончательному, насильственному напряжению, к молниеносному разряду, в этих кульминационных точках будто без остатка преобразует эпическое произведение в драматическое.

Драматическую, более того – театральную мощь этих сцен прежде других, задолго до филологов, распознали скороспелые ремесленники театра и бульварные драматурги, быстро сколотившие несколько грубых пьес из «Преступления и наказания», «Идиота» и «Карамазовых». Но тут и обнаружилось, как несостоятельны подобные попытки воспринять героев Достоевского с внешней стороны – со стороны их физического существа и их внешней судьбы, оторванными от их мира – от мира душевной жизни – и вне грозовой атмосферы ритмической возбудимости. На сцене эти люди напоминают безлиственные, безжизненные, лишенные коры стволы деревьев – в сравнении с живой, рокошующей и шелестящей листвой романа, вершиной простирающегося к небесам и все же тысячами корней и таинственных нервных нитей прикрепленного к эпической земной почве. Сеть их кровеносных сосудов, широко разветвляясь на сотнях страниц, черпает художественную мощь из сумрака намеков и предчувствий. Психология Достоевского не для яркого электрического освещения; она издевается над попытками «обработать» и упростить ее. Ибо в этой эпической подпочве есть таинственные психические контакты, подземные течения и нюансы. Не из видимых жестов, а из тысяч и тысяч отдельных намеков создается и созревает у него образ; литература не знает более нежной паутины, чем это кружево души. Если хотите ощутить непрерывность этих как бы подкожных течений повествования, попробуйте прочесть один из романов Достоевского в сокращенном французском издании. Как будто все есть: фильм событий разворачивается быстрее, фигуры кажутся даже более подвижными, законченными, более страстными. Но все-таки они в чем-то обеднены: их душе не хватает особого блеска, отливающего всеми цветами радуги, атмосферы сверкающего электричества, тяжести напряжения, которую только разряд делает такой страшной и такой благотворной. Что-то безвозвратно разрушено, уничтожен магический круг. И в этих попытках сокращения и драматизации познаешь смысл шири Достоевского, целесообразность его кажущейся растянутости. Маленькие, мимолетные, случайные намеки – казалось бы, совершенно излишние и случайные – получают объяснение через сотни страниц. Под поверхностью рассказа бегут провода скрытых контактов, разносящие вести, обменивающиеся таинственными рефлексам. Есть у него душевный шифр, незаметные физические и психические знаки, смысл которых уясняется только при втором или третьем чтении. Но ни в одном эпосе нет столь разветвленной нервной системы повествования, такой сумятицы событий, скрытой под костяком фабулы, под кожей диалога. И все же трудно это назвать системой: этот психологический процесс можно сравнить лишь с человеческим организмом: под кажущейся произвольностью здесь и там скрывается таинственная закономерность. В то время как другие мастера эпоса, особенно Гете, словно подражают скорее природе, чем человеку, и дают наслаждаться повествованием органически, как цветком, и образно, как ландшафтом, роман Достоевского переживаешь как встречу с исключительно глубоким и страстным человеком. Художественное произведение Достоевского остается земным, несмотря на всю его вечность: двойственное, мудрое, нервное, возбужденно-страстное, оно – вечное брожение плоти и мозга и нисколько не похоже на твердый металл, на выплавленный, чистый элемент. Оно неисчислимо, неизмеримо, как душа в ее телесной оболочке, и не имеет подобных среди форм искусства.

Не имеет подобных: совершенство его искусства, его мастерства превышает все меры, и чем глубже вникаешь в его произведения – тем необъятнее, тем могущественнее кажется его величие. Но этим я не хочу сказать, что его романы сами по себе совершенные художественные произведения, – они гораздо менее совершенны, чем другие, более бедные произведения, обнимающие более тесный круг явлений и удовлетворяющие более простым заданиям. Не при-

знающий меры может достигнуть вечности, но не может подражать. Многие части гениального архитектурного замысла унесены страстью, иные героические концепции разрушены поспешностью. Но эта поспешность Достоевского ведет от трагедии его искусства обратно – к трагедии его жизни. Ибо это была внешняя судьба, а не внутреннее легкомыслие: так же, как и Бальзака, жизнь вынуждала его торопиться, и он был слишком загнан, чтобы доводить свои произведения до совершенства. Не надо забывать, как создавались эти произведения. Весь роман всегда был уже продан, когда писалась первая глава, каждая работа была гонкой от аванса к новому авансу. Работая «как почтовая кляча», носясь по миру, он нередко не имеет времени и покоя, чтобы провести последние штрихи, и он это знает и ощущает как свою вину. «Пусть посмотрят, в каком положении я работаю! И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, и указывают на Тургенева и Гончарова! Тургенев умер бы от одной мысли», – раздраженно восклицает он. Он проклинает Толстого и Тургенева, которые, уютно сидя в своих имениях, могут округлять и шлифовать строки и которым он более ни в чем не завидует. Он лично не боится нужды, но художник, низведенный на ступень батрака, возмущается помещичьей литературой: в нем говорит неукротимая тоска артиста, мечта творить спокойно, создавать совершенные произведения. Каждый промах в его произведениях ему известен; он знает, что после эпилептических припадков напряжение ослабевает, плотная оболочка художественного произведения как бы разрежается и позволяет проникнуть безразличным элементам. Часто, когда он читает рукопись, друзья или жена вынуждены обращать его внимание на грубые упущения, проскользнувшие во время омрачения памяти после припадка. Этот чернорабочий, этот поденщик творчества, этот раб авансов, который в условиях самой ужасной нужды пишет подряд три гигантских романа, – в душе сознательнейший художник. Он фанатически любит ювелирную работу, филигранное совершенство. Даже под кнутом нужды часами он шлифует отдельные страницы, дважды уничтожает «Идиота», хотя жена его голодает и еще не уплачено акушерке. Беспредельно его стремление к совершенству, но беспредельна и его нужда. Снова две могучие силы борются за его душу – внешнее и внутреннее принуждение. Даже как художник, он пребывает в великом разладе дуализма. Насколько человек жаждет в нем гармонии и покоя, настолько же художник стремится к совершенству. Здесь и там пронзенными ладонями он пригвожден ко кресту своей судьбы.

Итак, даже искусство, самое единое, что есть в мире, не спасает распятого от разлада; и здесь – мучение, беспокойство, бегство и спех; и оно не хочет быть родиной ему, лишившемуся родины. Страсть, побуждающая его к созиданию, гонит его за межу совершенства – свершения навстречу беспредельности: со своими обломанными башнями, недостроенные (ибо «Карамазовы», так же как и «Преступление и наказание», обещают вторую, никогда не написанную часть) здания его романов поднимаются до неба религии, до заоблачной сферы вечных вопросов. Не будем называть их романами, не будем применять к ним эпическую мерку: они давно уже не литература, а какие-то тайные знаки, пророческие звуки, прелюдии и пророчества мифа о новом человеке. Как бы ни любил Достоевский искусство, оно для него не самое главное, и, как все его великие родичи в русской литературе, он видит в искусстве лишь мост для познания человеком Бога. Вспомним: Гоголь после «Мертвых душ» бросает литературу и становится мистиком, таинственным вестником новой России; Толстой в шестьдесят лет проклинает искусство – собственное и чужое – и становится евангелистом добра и справедливости; Горький отказывается от славы и становится глашатаем революции. Достоевский до последней минуты не оставлял пера, но то, что он изображал, – это уже не художественное произведение в узком земном смысле, а Евангелие третьего царства, какой-то миф нового русского мира, апокалиптическая проповедь, темная и загадочная. Искусство было для вечно неудовлетворенного художника только началом, а конец его – в бесконечности. Оно было для него лишь преддверием, а не самым храмом. В его произведениях есть нечто большее, что не укладыва-

ется в слова, и благодаря тому, что этот высший, последний смысл в них лишь предугадан и не влит в преходящую форму, они служат путями к совершенству человека и человечества.

Переступающий границы

В вечной недоверженности твое величие.

Гете

Традиция – каменная граница, воздвигнутая прошлым вокруг настоящего: кто хочет проникнуть в будущее, должен перешагнуть ее. Ибо природа не терпит задержек в познании. Она требует порядка, но любит только того, кто разрушает ее ради создания нового порядка. Вкладывая в единичных людей излишек собственных сил, она всегда создает себе конкистадоров, которые от родных берегов души отчаливают в океаны неведомого к новым странам сердца, новым сферам духа. Без этих переступающих границы смельчаков человечество было бы в плену у себя, и его эволюция – вращением вокруг собственной оси. Без этих великих вестников, в лице которых оно словно перегоняет себя самого, поколения не знали бы своего пути. Без этих великих мечтателей человечество не знало бы самого глубокого своего назначения. Не спокойные познаватели, географы родины, расширили наш мир, à desparados, через неведомые океаны плывшие к новой Индии; не психологи, не ученые познали глубину души современного человека, а не знающие меры поэты, переступавшие границы.

Из великих писателей, переступавших границы в литературе, Достоевский в нашу эпоху был самым великим, и никто не открыл в душе так много новых стран, как этот буйный, не знающий преград художник, которому, по его собственному выражению, «безмерное и бесконечное необходимо, как и та маленькая планета, на которой он обитает». Ни перед чем он не останавливался: «везде-то и во всем я за черту переходил», – с гордостью и в то же время обвиняя себя, пишет он в одном письме, – «везде». И почти невозможно перечислить все его деяния, – переходы через ледяные хребты мысли, спуски к затаеннейшим источникам подсознательного, его подъемы, почти сомнамбулические подъемы к головокружительным вершинам самопознания. Он побывал там, где не было протоптанных троп, он пребывал охотнее всего в лабиринтах и путаных переходах. Никогда до него человечество не познавало так глубоко механизма и мистических сил своего душевного существа; в его зоре оно приобрело небывалую бдительность и сознательность и в чувстве – причастность к тайне и Божеству. Не будь его, переступившего все рубежи, человечество знало бы меньше о своей извечной тайне. С высоты его произведений мы заглядываем в будущее глубже, чем когда-либо.

Первая граница, которую перешагнул Достоевский, первая даль, им открытая, – была Россия. Он открыл миру свой народ, расширил наше европейское сознание, первый дал возможность увидеть русскую душу как фрагмент – и драгоценный фрагмент – мировой души. До него Россия представляла собой предел для Европы: переход к Азии, белое пятно на карте, кусок прошлого, давно пережитого нами варварского детства. Он первый показал нам грядущую силу в этой пустыне, с ним мы ощутили Россию как колыбель новой веры, как дальнейшее слово в великой поэме человечества. Он обогатил сердце мира этим знанием и надеждой. Он воспламенил наш дух предвестием новых возможностей. Он первый зажег светоч нового народа и заставил нас страстно желать, чтобы эта горячая капля мирового детства и душевной свежести влилась в усталый, костенеющий мир старой Европы. И как раз в недавней войне мы почувствовали, что все, что мы знаем о России, мы знаем через него, и он дал нам возможность ощутить в этой враждебной стране братскую душу.

Но еще глубже и значительнее, чем это культурное обогащение мирового знания русской идеей (его мог бы, вероятно, достигнуть и Пушкин, если бы его грудь не пронзила на тридцать восьмом году дуэльная пуля), – еще глубже и значительнее – огромное расширение нашего душевного самопознания, беспрецедентное в литературе. Достоевский – психолог из психологов. Его магически привлекает глубина человеческого сердца; бессознательное, подсознательное,

непроницаемое – вот его истинный мир. Со времен Шекспира мы не узнали так много о тайне чувств и о магических законах их сплетений, и, подобно Одиссею, единственному вернувшемуся из подземного мира, – он повествует о подземном мире души. И его, как Одиссея, сопровождал какой-то Бог, какой-то демон. Его болезнь, возносившая его на выси чувства, недоступные для смертного, ввергавшая его в состояния ужаса и трепета, которые находятся уже по ту сторону жизни, – его болезнь давала ему возможность дышать то ледяной, то пламенной атмосферой безжизненного и сверхжизненного. Как ночные звери в темноте, так и он видит яснее в сумерках, чем другие при дневном свете. В огненной стихии, в которой другие сгорают, он испытывает истинную температуру чувства; он перерос здоровую душу и жил в больной – и в ней познал самую глубокую тайну жизни. Он заглянул в лицо безумию; как лунатик, он шагал по таким вершинам чувства, с которых бодрствующие свалились бы без сознания. Достоевский глубже проник в преисподнюю подсознательного, чем врачи, юристы, криминалисты и психопатологи. Все, что наука открыла и определила лишь позднее, все, что она, экспериментируя, словно скальпелем отделяла от мертвого опыта, – явления телепатии, истерии, галлюцинирования, извращения – он изобразил благодаря мистической способности ясновидящего переживания и сострадания. Выслеживая душевные явления, он достигал грани безумия (экссесс духа), грани преступления (экссесс чувства), исходив огромные, доселе неизведанные пространства души. Старая наука закрывает с ним последнюю страницу своей книги: Достоевский кладет начало новой психологии в искусстве.

Новой психологии: ибо наука души также имеет свои методы – искусство, которое на первый взгляд на протяжении веков представляет собой неизменное единство, – и оно подчиняется все новым и новым законам. И в этой науке бывают перевороты, успехи познания, достигаемые благодаря новым разложениям и определениям; и как химия путем опытов постепенно уменьшала количество основных, казалось бы, неделимых элементов и до сих пор продолжает находить соединения в телах, которые считаются простыми, – так и психология, путем возрастающей дифференциации, растворяет единство чувства в бесконечное действие и противодействие различных побуждений. Невзирая на гениальные прозрения единичных лиц, пограничная черта между старой психологией и новой несомненна. От Гомера вплоть до Шекспира существует, собственно говоря, только психология однолинейности. Человек – пока еще формула – качество во плоти: Одиссей хитер, Ахилл храбр, Аякс вспыльчив, Нестор мудр... Каждое решение, каждое деяние этих людей лежит ясное и открытое на плоскости их воли. И Шекспир, поэт, стоящий на грани старого и нового искусства, изображает своих героев так, что доминанта всегда подавляет противоборствующую мелодию их существа. Но вместе с тем он первый посылает из душевного средневековья нового человека в наш современный мир. В своем Гамлете он впервые создает сомневающегося человека, родоначальника новой, дифференцированной души. Здесь впервые – в духе новой психологии – воля сломлена препятствиями, зеркало самонаблюдения помещено в самую душу, изображен познающий себя человек, который живет двойственно – одновременно вовне и внутри, человек, размышляющий в действии и проявляющий себя в мышлении. Здесь человек впервые живет так, как мы ощущаем жизнь, чувствует так, как мы чувствуем теперь, – правда, еще в сумерках сознания: датский принц еще окутан реквизитом суеверного мира, вместо мечты и предчувствия на его встревоженный ум еще действуют волшебные напитки и духи. Но все же здесь совершилось огромное психологическое событие: раздвоение чувства. Открыт новый континент души, проложен путь для будущих исследователей. Романтические герои Байрона, Гете, Шелли, Чайльд-Гарольд и Вертер, ощущая вечное противоречие между страстностью своей натуры и трезвым миром, своей тревогой содействуют химическому разложению чувств. Точная наука тем временем дает еще некоторые ценные единичные знания. Затем приходит Стендаль. Он знает больше, чем все его предшественники, о кристаллизации чувств, о многозначности ощущений и их способности к преобразованиям. Он предчувствует таинственный спор сердца с каждым его решением.

Но душевная лень его гения, фланирующая вялость его характера не позволяют ему осветить всю динамику бессознательного.

Только Достоевский, великий разрушитель единства, вечный дуалист, проникает в эту тайну. Если не он создал совершенный анализ чувства, то его не создал никто. У Достоевского единство чувства растерзано в клочья, точно у его героев душа построена не так, как у других, у прежних людей. Самые смелые анализы души, которые производили писатели до него, кажутся поверхностными рядом с его дифференциацией; их можно сравнить с курсом электротехники, изданным тридцать лет тому назад: в нем только намечены первоначальные принципы, а об основном содержании науки еще и речи нет. В его душевной сфере нет простого чувства, неделимого элемента: всякое чувство – только конгломерат, промежуточная, переходная, преходящая форма. В бесконечных превращениях, перемещениях, дрожа и шатаясь, движется чувство во внешний мир, но бешеный спор между волей и правдой колеблет душу. Едва достигнешь последних оснований решения или желания, как тотчас же откроются новые, более глубокие основания. Ненависть, любовь, сладострастие, слабость, тщеславие, гордость, властолюбие, смирение, благоговение – все побуждения переплетены в вечном превращении. В произведениях Достоевского душа – это смятение, священный хаос. У него есть люди, спившиеся от тоски по чистоте, преступники из-за жажды раскаяния, насильники из уважения к невинности, хулители Бога из религиозной потребности. Если его герои испытывают желание, то надежда на его исполнение борется в них с надеждой на его неисполнимость. Их упрямство, если развернуть его до конца, окажется не чем иным, как скрытой стыдливостью, их любовь – преобразованной ненавистью, их ненависть – затаенной любовью. Одна противоположность оплодотворяет другую. У него есть сластолюбцы из жажды страдания и люди, терзающие себя из жажды наслаждения; в бешеном круговороте вращается вихрь их воли. В вождении они уже ощущают достижение, в достижении – отвращение, в преступлении они наслаждаются раскаянием и в раскаянии – преступлением. Существует, словно верх и низ, многоликость ощущений. Деяние их рук – это не деяние их сердца, язык их сердца – не язык их уст, и в каждом отдельном чувстве – раздвоенность, многообразие и многозначность. Никогда не удастся у Достоевского найти единство чувства, уловить человека в сети понятия. Назовем Федора Карамазова сладострастником: понятие как будто исчерпывает его сущность; однако Свидригайлов или безымянный студент в «Подростке» – тоже сладострастники, и все же: какая бездна между ними, между их чувствами! У Свидригайлова сладострастие – холодное, бездушное распутство, он расчетливый тактик своего разврата. Сладострастие Карамазова – это жажда жизни, распутство, доведенное до купания в грязи, глубокое стремление до самого дна погрузиться в низины жизни лишь потому, что это жизнь, насладиться самым низменным потому, что и это – экстаз жизненной силы. Один – сладострастник от скудости, другой – от избытка чувства; что у одного болезненное возбуждение ума, то у другого хроническое воспламенение. С другой стороны, Свидригайлов – человек среднего сладострастия, пробавляющийся «развратиком» вместо разврата, – маленькое грязное животное, чувственное насекомое, а безымянный студент – это сексуальное извращение духовной злобы. Мы видим: целые миры чувства стоят между людьми, которых обычно определяют одним понятием, и, как сладострастие дифференцируется и разлагается здесь на свои таинственные составные части и разветвления, – так каждое чувство, каждое побуждение всегда доведено у Достоевского до последней глубины, до истоков всякой силы, до последнего противоречия между «я» и миром, между утверждением своего «я» и самопожертвованием, между гордостью и смирением, расточительностью и бережливостью, одиночеством и общительностью, центробежной и центростремительной силой, самовозвышением и самоуничтожением, между личностью и Богом. Можно называть эти пары противоречий так, как требует каждый данный случай, но это всегда последнее, изначальное чувство противоречия между плотью и духом. Никогда до него мы не знали так много об этом многообразии чувств, о сложности их сплетений в нашей душе.

Но изумительнее всего то, что разложению Достоевский подвергает даже любовь. Это величайшее его деяние: сотни лет с древних времен роман – нет, вся литература вливалась в это центральное чувство между мужчиной и женщиной, как первоисточник всякого бытия; но и это чувство он проследил до конца, подымаясь с ним еще выше, опускаясь еще глубже, достигая последнего, окончательного познания. Для других поэтов любовь – конечная цель жизни, цель повествования в художественном произведении; для него же она – не первоначальный элемент, а только жизненная ступень. Для других гремит голос примирения, разрешения всех противоречий в великую минуту, когда чувственное и сверхчувственное, пол и пол, всецело растворяются в неземном чувстве. В конце концов у них, у других поэтов, жизненный конфликт до смешного примитивен в сравнении с Достоевским. Коснется человека любовь, волшебная палочка из Божественного облака, тайна, величайшая магия, последняя, необъяснимая, неопределимая мистерия жизни, – и любящий любит: он счастлив, если возлюбленная принадлежит ему; он несчастен, если она ему не принадлежит. Во взаимной любви – небо всех поэтов человечества. Но небеса Достоевского выше. Объятие для него – еще не соединение, гармония – еще не единство. Для него любовь – не достигнутое счастье, не примирение, а начавшийся разлад, с новой силой возобновившаяся боль вечной раны и потому – страдание, – более сильное страдание от жизни, чем в обычные минуты. Когда герои Достоевского любят друг друга, они не спокойны. Напротив, никогда они не бывают так потрясены всем противоречием своего существа, как в моменты, когда любовь встречает любовь; они не разрешают себе утопать в достигнутой полноте: они пытаются повысить ее. Истинные дети его разлада, они не останавливаются на этом мгновении. Они презирают нежное равновесие минуты (которая для других – предел счастья), когда возлюбленный и возлюбленная одинаково сильно любят друг друга, ибо это была бы гармония, предел, граница, а они живут для беспредельного. Герои Достоевского не хотят любить так, как их любят: они хотят любить и всегда быть жертвой, больше давать, чем получать; они взаимно повышают любовь в безумном состязании чувства, пока то, что началось как нежная игра, не станет воплем, мукой, борьбой. В иступленном преобразовании чувства они счастливы, когда их отталкивают, презирают, когда издеваются над ними, потому что тогда они дают, бесконечно дают и ничего не требуют, – и потому у него, мастера контрастов, ненависть так похожа на любовь, а любовь так похожа на ненависть. Но и в короткие промежутки, когда они как будто с равной силой любят друг друга, еще раз взрывается единство чувства, – ибо герои Достоевского никогда не могут одновременно любить друг друга чувством и душой. Они любят тем или другим, – никогда нет гармонии между плотью и духом. Взгляните на его женщин: все они – Кундри, живущие одновременно в двух мирах чувства: душой они служат святому Граалю и в то же время сладострастно сжигают свое тело на цветочных лугах Титуреля. Феномен двойственной любви, один из самых сложных у других поэтов, обычен, совершенно естественен для Достоевского. Настасья Филипповна любит своим духовным существом Мышкина, кроткого ангела, и любит плотской страстью Рогожина, его врага. На пороге церкви она покидает князя и бросается в постель к другому, от пирушки пьяницы возвращается к своему спасителю. Ее дух как бы сверху испуганно смотрит на то, что творит ее тело; ее тело будто дремлет в гипнозе в то время, как ее душа в экстазе обращена к другому. Точно так же Грушенька одновременно любит и ненавидит своего первого соблазнителя, страстно любит своего Дмитрия и обожает – уже вполне духовно – Алешу. Мать «Подростка» любит из благодарности своего первого мужа и одновременно из рабского чувства, из преувеличенного смирения – Версилова. Безграничны, неизмеримы преобразования понятия, другими психологами легкомысленно объединяемого в слове «любовь»: так в былые времена врачи объединяли одним названием целые группы болезней, для которых у нас теперь имеются сотня имен и сотня методов лечения. Любовь у Достоевского может быть преобразованной ненавистью (Александра), состраданием (Дуня), упрямством (Рогожин), чувственностью (Федор Карамазов), насилием над собой, но всегда за любовью стоит еще другое,

изначальное чувство. Никогда любовь не бывает у него элементарна, необъяснима, нерасчленима, первобытным феноменом, чудом: всегда он объясняет, разделяет это самое страстное чувство. О, безграничны, безграничны эти превращения, и каждое, отливая всеми цветами радуги, леденея от холода и вновь воспламеняясь, бесконечно и непроницаемо, как многообразие жизни. Напомню только Катерину Ивановну. Она встречает Дмитрия на балу, он не сразу идет навстречу ее желанию познакомиться с ним и этим оскорбляет ее, – она его возненавидела. Он мстит, он унижает ее, – и она полюбила его или, вернее, полюбила не его, а причиненное им унижение. Она приносит себя ему в жертву и думает, что любит его, но она любит только свое самопожертвование, любит собственную позу любви, и чем больше ей кажется, что она его любит, тем больше она его ненавидит. И эта ненависть обрушивается на его жизнь и губит его; и в тот миг, когда она его погубила, когда как бы ложью оказывается ее самопожертвование, когда ее унижение отомщено, – она снова любит его. Так сложна у Достоевского любовная связь. Как сравнить ее с книгами, которые кончаются, когда оба любят друг друга и нашли друг друга среди всех опасностей жизни? Где обычно кончают, там только начинается трагедия Достоевского, ибо не в любви, не в тепленьком примирении полов для него смысл и торжество мира. Тут он вновь сближается с великими традициями древности, где не победа над женщиной, а преодоление мира и воли богов было смыслом и величием судьбы. У него вновь появляется человек не со взором, обращенным к женщине, а с лицом, открытым навстречу Богу. Его трагедия больше, чем трагедия пола, трагедия мужчины и женщины.

Если познать Достоевского в этой глубине познания, в этом полном разложении чувств, тогда станет ясно: от него нет пути обратно, в прошлое. Если искусство хочет быть правдивым, оно не должно восстанавливать дешевые иконы чувства, разбитые им, не должно заключать роман в узкий круг общества и чувства, не должно стараться затемнить таинственные промежуточные области души, которые он осветил. Он первый подал нам ту весть о человеке, которую мы сами воплощаем в себе, и эта весть, дифференцируя чувства, обогащает наши знания более, чем все прежние открытия. Никто не может измерить, насколько за эти пятьдесят лет, со времени появления его книг, мы стали походить на героев Достоевского, сколько его пророчеств исполнилось в нашей крови, сколько его прозрений оправдалось в нашем духовном мире! Новые страны, в которые он первый вступил, – может быть, уже наша земля; границы, которые он перешел, – наша настоящая родина.

Неизмеримую долю нашей последней истины – истины, которую мы теперь переживаем, – пророчески открыл нам Достоевский. Он нашел новые меры глубины человека: ни один смертный до него не знал так много о бессмертной тайне души. Но странно: безгранично расширил он наше знание о нас самих, безгранично многому научил он нас, – но у него же научились мы и высокому чувству смирения, научились ощущать демоничность жизни. Благодаря ему мы стали сознательнее, но эта сознательность не раскрепостила, а еще больше связала нас. Ибо так же, как современные люди не меньше, чем прежние поколения, ощущают величие молнии, несмотря на то, что познали ее природу как электрического феномена и назвали ее атмосферным напряжением и разрядом, – так и знание душевного механизма человека не может умалить благоговения перед человечеством. Именно Достоевский, показавший нам все составные элементы души, этот великий аналитик, этот анатом чувства, дает вместе с тем более глубокое, более универсальное мировое чувство, чем все поэты нашего времени. И он, познавший человека глубже, чем кто-либо до него, более, чем кто-либо, преисполнен благоговения перед непостижимым, сотворившим его, – перед Божеством, перед Богом.

«Искание бога»

*Меня Бог мучит.
Достоевский*

«Есть Бог или нет?» – грозно спрашивает Иван Карамазов в ужасном диалоге своего двойника, черта. Искуситель улыбается. Он не торопится ответить, снять с измученного человека самый трудный вопрос. «Со свирепой настойчивостью» приступает к Сатане Иван в своем исступленном богоискательстве: он должен, он обязан дать ему ответ на этот важнейший вопрос его существования. Но дьявол только подливает масло в огонь нетерпения. «Ей-Богу, не знаю», – отвечает он пришедшему в отчаяние человеку. Чтобы помучить, он оставляет вопрос о Боге без ответа, оставляет ему страдания богоискательства.

Все герои Достоевского – и не последний из них он сам – носят в себе Сатану, который задает вопрос о Боге и не отвечает на него. У всех у них «горячее сердце», способное мучиться этими мучительными вопросами. «Веруете вы сами в Бога или нет?» – обрушивается вдруг Ставрогин, другой дьявол в человеческом образе, на кроткого Шатова. Как раскаленное железо, разбойнически вонзает он этот вопрос в его сердце. Шатов отступает. Он дрожит, бледнеет: все искренние люди у Достоевского трепещут перед этим последним признанием (а он – как сам он содрогался в священном страхе!). И только когда Ставрогин настаивает, он лепечет бледными устами отговорку: «Я верую в Россию». И только ради России он признает себя верующим в Бога.

Этот скрытый Бог – проблема всех произведений Достоевского: Бог в нас, Бог вне нас и его воскрешение. Как для «настоящего русского», самого настоящего и самого великого из созданных этим многомиллионным народом, вопрос о Боге и о бессмертии является для него, по его собственному признанию, «первым вопросом и прежде всего». Никто из его героев не может миновать этого вопроса, он прирос к ним, как тень их деяний, – то забегая вперед, то, как раскаяние, прячась за спиной. Они не могут спастись от него, и единственный, кто пытается его отрицать, великий мученик мысли Кириллов в «Бесах», должен убить себя, чтобы убить Бога, – и этим он доказывает с большей страстностью, чем другие, его существование и его неизбежность. Обратите внимание на диалоги Достоевского, – как его люди избегают говорить о нем, как они обходят его и увиливают: они хотели бы оставаться на низинах, в легких беседах, в «small talk» английского романа; они говорят о крепостном праве, о женщинах, о Сикстинской мадонне, об Европе, но какая-то бесконечная сила тяготения давит каждую тему и в конце концов магически вовлекает ее в неизмеримую глубь основного вопроса – вопроса о Боге. Всякий спор у Достоевского кончается русской идеей или идеей Бога, – и мы видим, что обе идеи для него тождественны. Русские люди, его люди, не умеют останавливаться ни в своих чувствах, ни в своих мыслях: от практического и реального они неизбежно возносятся к абстрактному, от конечного к бесконечному, – всегда они стремятся к концу. И всегда в конце всех вопросов – вопрос о Боге. Это внутренний вихрь, беспощадно вовлекающий в себя их идеи, это гнойная заноза в их теле, вызывающая в душах лихорадку.

Лихорадку! Потому что Бог – Бог Достоевского – первоисточник всякого волнения, ибо он, праотец контраста, есть одновременно и утверждение, и отрицание. Он не похож на картины старых мастеров и писания мистиков, изображавших его кротко парящим над облаками, блаженно созерцательным существом: бог Достоевского – это искра, сверкающая между электрическими полюсами извечных архиконтрастов; он не существо, а состояние – состояние напряжения, процесс сгорания чувств, он – огонь, он – пламя, поджигающее всех людей и заставляющее их кипеть в экстазе. Он – бич, изгоняющий их из самих себя, из теплого, спокойного тела – в беспредельность, вызывающий все эксцессы слова и действия, бросающий их

в горящий терновник пороков. Это, – как и его люди, как и человек, создавший его, – Бог, не знающий удовлетворения, выдерживающий любое напряжение, не утомляющийся никакой мыслью, не удовлетворяющийся никакой преданностью. Он вечно недосыгаем, мука всех мук, – и поэтому из груди Достоевского вырывается крик, вложенный в уста Дмитрия Карамазова: «Меня Бог мучит».

В этом – тайна Достоевского: ему нужен Бог, но он его не находит. Иногда ему кажется, что он уже достигает его в своем экстазе, – и снова потребность отрицания швыряет его на землю. Никто не познал сильнее его необходимость Бога. «Бог уже потому мне необходим, – говорит он однажды, – что это единственное существо, которое можно вечно любить»; и в другой раз: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться перед безмерно великим». Шестьдесят лет томится он «исканием Бога» и любит Бога, как каждое свое страдание, любит его даже больше всех других мук: ибо это самая упорная мука, а любовь к страданию – самая глубокая идея его бытия. Шестьдесят лет он стремится к Богу и, «как трава иссохшая», жаждет веры. Вечно раздвоенный, он просит единства, вечно затравленный – отдыха, вечно гонимый по всем потокам страсти, вечно выходящий из берегов – выхода, покоя, моря. Так он грезит о нем, как об успокоении, а находит его только в пламени. Он хотел бы стать ничтожным, уподобиться косным духом, чтобы войти в него, хотел бы верить слепо – «как семипудовая купчиха», хотел бы отказаться от своего великого познания, от своей мудрости, чтобы стать верующим; вместе с Верленом он молит: «*Donnez-moi de la simplicité!*»¹⁰ Сжечь мозг в чувстве, по-животному тупо успокоиться в Боге – вот его мечта. О, как стремится он ему навстречу! Он буйствует, кричит, выбрасывает гарпуны логики, чтобы поймать его, ставит ему самые смелые капканы доказательств; стрелой взлетает его страсть, чтобы настигнуть его; жажда Бога, «исступленная, почти неприличная жажда» – его любовь, страсть, пароксизм, избыток.

Но стал ли он верующим благодаря своей фантастической жажде веры? Был ли Достоевский, самый красноречивый проповедник правоверия, православия, – был ли он его исповедником, *poeta chrastianissimus*?¹¹ Бесспорно – мгновениями: тогда он судорожно тянется в беспредельность, тогда он в спазмах хватается за Бога, тогда он держит в руках гармонию, недоступную ему в области земного, тогда, распятый на кресте разлада, он воскресает в едином небе. Но все же: что-то продолжает в нем бодрствовать и не расплавляется в огне души. В то время как он как будто совершенно растворился в неземном опьянении, жестокий дух анализа недоверчиво стоит настороже, измеряя море, в которое он хочет погрузиться. Неумолимый двойник восстает против стремлений индивида, «неделимого». И в проблеме Бога зияет неизлечимый разлад, заложенный в каждом из нас; но ни один смертный до Достоевского не увидел в нем такую неизмеримую пропасть. В его душе совмещается великая вера и крайний атеизм. В своих героях он с равной убедительностью показал самые полярные возможности обеих форм (не убедив себя, не придя к какому-нибудь решению) – смирения, преклонения, растворения в Боге, и, с другой стороны – самой грандиозной противоположности этих чувств – стремления самому стать Богом: «сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам стал Богом, – есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам». И душа его – с обоими, с «человеком Божиим» и с отрицателем Бога, с Алешей и с Иваном Карамазовым. Он не выносит решения в церковном соборе своих произведений, он остается и с праведно верующими и с еретиками. Его вера – жгучий переменный ток между утверждением и отрицанием, между двумя полюсами мира. И перед Богом Достоевский остается великим отверженцем единства.

Так остается он Сизифом, вечно катящим камень к вершине познания, с которой он все снова скатывается; вечно стремящимся к Богу, которого он никогда не достигает. Но не оши-

¹⁰ «Дай мне простоты!»

¹¹ Христианнейшим поэтом.

баюсь ли я? Не является ли Достоевский перед людьми великим проповедником веры? Разве через его сочинения не проходит великий органнй гимн Богу? Не свидетельствуют ли единодушно, повелительно его политические, его литературные произведения с несомненной необходимостью его существование? Разве не утверждают они православие? Разве не порицают атеизм, как самое ужасное преступление? Но не следует смешивать волю с действительностью, веру с постулатом веры. Достоевский, поэт вечных противоречий, олицетворенный контраст, проповедует веру как необходимость и тем пламеннее проповедует ее другим, чем менее верит сам (в смысле постоянной, несомненной, спокойной, положительной веры, которая считает «тихое умиление» высшим долгом). Из Сибири он пишет одной женщине: «Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных». Никогда он не выразил этого яснее: он тоскует по вере из-за неверия. И тут кроется одна из возвышенных переоценок Достоевского: именно потому, что он не верит и знает муки неверия, потому что, по его собственным словам, он «всегда любил горе и скорбь лишь для себя» и «жалел» других, – потому он проповедует веру в Бога, в которого не верит сам. Измученный «исканием Бога», он хочет видеть нашедшее Бога человечество; мучительно неверующий, он хочет видеть блаженно верующих. Пригвожденный к кресту своего неверия, он проповедует народу православие; он насилует свое сознание, потому что знает, что оно разъединяет и сжигает; он проповедует ложь, дающую счастье, – строгую, текстуальную крестьянскую веру. «Не имея веры на горчичное зерно», восставая против Бога, заявляя с гордостью, что в Европе нет и не было такой силы атеистических выражений, как в его Инквизиторе, он требует подчинения духовенству. Чтобы уберечь людей от муки неверия, которую он переживает в собственной крови, он проповедует любовь к Богу. Ибо он знает, что религиозные колебания для добросовестного человека невыносимы. Сам он не избежал этих мук; как мученик, он взвалил на себя сомнения. Но человечество, которое он так любил, он хочет избавить от них; как его Великий инквизитор, хочет он уберечь человечество от мук свободы совести и убаюкать его в мертвом ритме авторитета. Так, вместо того, чтобы надменно проповедовать истину своего знания, он создает смиренную ложь веры. Он передвигает религиозную проблему в плоскость национальной, к которой он относится с фанатизмом обожествления. И, как самый верный ее раб, на вопрос: «Веруете вы сами в Бога или нет?» – он отвечает искренней исповедью своей жизни: «Я верую в Россию».

В этой отговорке его бегство, его убежище: Россия. Здесь его слово уже не разлад, здесь оно – догма. Бог молчал, – и он создает посредника между собой и совестью – Христа, нового глашатая нового человечества, русского Христа. Из действительности, из эпохи, бросает он свою огромную потребность в вере навстречу неизвестности, – ибо только неведомому, безмерному может всецело отдаваться этот не знающий меры человек – огромной идее России, этому слову, которое он наполняет безмерностью своей веры. Второй Иоанн, он проповедует нового Христа, не узрев его. И он вещает миру во имя его, во имя России.

Эти его мессианские писания – политические статьи и некоторые выпады Карамазова – не ясны. Смутно вырисовывается из них новый лик Христа, новая идея искупления и всепримирения: византийский лик с жесткими чертами, с суровыми морщинами. Как со старинных потемневших икон, смотрит на нас чуждый пронзительный взор с кротостью, с бесконечной кротостью, но и с ненавистью, с жестокостью. И страшен сам Достоевский, когда нам, европейцам, как заблудшим язычникам, возглашает он эту русскую весть спасения. Злым, фанатичным, средневековым монахом с византийским крестом – словно бичом – в руке стоит перед нами этот политик, этот религиозный фанатик. Не мягкой проповедью, а словно в бреду, одержимый, в мистических судорогах, возвещает он свое учение; в демонических гневных выпадах разряжается его непомерная страсть. Дубиной опровергает он всякое возражение; охваченный

лихорадкой, опоясанный надменностью, сверкая ненавистью, бурно вступает он на трибуну эпохи. С пеной у рта, дрожащими руками бросает он анафему нашему миру.

Исступленный иконоборец, буйно набрасывается он на святыни европейской культуры. Все наши идеалы неистово топчет он ногами, чтобы приготовить путь своему новому, русскому Христу. До безумия вздымается его московитская нетерпимость. Европа, что она такое? Кладбище, – быть может, «самое, самое дорогое кладбище», но все же «кладбище и никак не более», – смердящее гнилью, негодное даже служить удобрением для нового посева. Всходы же его могут появиться только на русской земле. Французы – чванные фаты, немцы – жалкие колбасники, англичане – продавцы грошовой мудрости, евреи – смердящее высокомерие. Католицизм – учение дьявола, поругание Христа, протестантство – мудрствующая религия государства, то и другое – издевательство над единственной истинной верой в Бога: русской церковью. Папа – Сатана в тиаре, наши города – Вавилон, великая блудница Апокалипсиса, наша наука – тщетный призрак, демократия – жидкая похлебка размягченного мозга, революция – проказы дураков и одураченных, пацифизм – бабья болтовня. Все идеи Европы – отцветший, завядший букет, годный лишь на то, чтобы бросить его в навозную кучу. Только русская идея – единственно великая, единственно истинная, единственно непогрешимая. Одержимый амом, несется он дальше, в исступленном преувеличении прокалывая кинжалом каждое возражение: «Мы вас понимаем, а вы нас не понимаете», – и всякий спор падает, обливаясь кровью. «Мы, русские, все понимаем, а вы ограниченные люди», – объявляет он. Только в России – истина, и все в России справедливо, – царь и нагайка, поп и мужик, иконы и тройка – и тем справедливее, чем меньше похоже на Европу, чем больше здесь азиатского, монгольского, татарского, тем правильнее, чем более консервативно, отстало, реакционно, необразованно, византийно. О, как он неистовствует, этот великий преувеличитель! «Будем азиатами! Будем сарматами!» – восклицает он. «Вон из европейского Петербурга, назад в Москву, в Сибирь, в новую Россию, в третье царство!» Спора этот опьяненный своей верой средневековый монах не терпит. Долой рассудок! Россия – догма, которая должна быть признана бесспорно. «Умом Россию не понять... В Россию можно только верить». Кто не падает перед ней ниц, тот враг, антихрист: в крестовый поход против него! Громко трубит он в фанфару войны. Австрию надо растоптать, полумесяц должен быть сорван с Царьградской Софии, Германию – укротить, Англию – завоевать; безумный империализм закутывает его надменность в монашескую рясу и восклицает: «Dieu le veut!»¹² Во имя царства Божия – весь мир за Россию!

Итак, Россия – Христос, новый спаситель, а мы – язычники. Ничто не спасет нас, порочных, от чистилища нашей вины: мы совершили смертный грех, не родившись русскими. Для нашего мира нет места в третьем царстве; наш европейский мир должен раствориться в русской мировой империи, в новом царстве Божьем, – тогда только он может быть спасен. Все люди должны «стать русскими, во-первых и прежде всего». Тогда только начнется новый мир. Россия – это народ-богоносец, он должен сперва мечом завоевать землю, и тогда он скажет свое «последнее слово» человечеству. И это «последнее слово» значит для Достоевского: примирение. Для него русский гений заключается в способности все понять, разрешить все противоречия! Русский – это все разумеющий человек и потому гибкий в высшем смысле этого слова. И его государство, государство будущего, будет церковью, формой братского общения, взаимного понимания вместо подчинения. И прологом к событиям недавней войны (которая в начале была пропитана его идеями, как в конце идеями Толстого) звучит его речь, когда он говорит: «Мы первые объявим миру, что не чрез подавление личности иноплеменных нам национальностей хотим мы достигнуть собственного преуспевания, а, напротив, видим его лишь в свободнейшем и самостоятельном развитии всех других наций и в братском единении с ними». Здесь кроется предвестие Ленина и Троцкого, но, вместе с тем, и войны, которую он,

¹² Так хочет Бог!

заступник всех противоречий, так страстно прославлял. Всепримирение – это цель, но Россия – единственный путь: «от Востока звезда сия воссияет». Над Уралом воссияет вечный свет, и вера смиренного народа, а не суемудрый дух европейской культуры со своими мрачными, от тайн земли идущими силами, спасет мир. Вместо могущества будет действенная любовь, вместо столкновений между личностями – всечеловеческое чувство; новый, русский Христос принесет всепримирение, разрешение контрастов. И тигр будет пастись рядом с ягненком, и «лань ляжет подле льва», – как дрожит голос Достоевского, когда он говорит о третьем царстве, о великой, всемирной России, как он трепещет в экстазе веры, как прекрасен он, познавший всю глубину действительности, в своей мессианской мечте!

Ибо в слове «Россия», в русской идее Достоевский грезит об этой христианской мечте, об идее примирения противоречий, которую он тщетно искал шестьдесят лет в своей жизни, в искусстве и даже в Боге. Но эта Россия – какая же она, реальная или мистическая, политическая или пророческая? Как всегда у Достоевского: и то и другое вместе. Тщетно требовать логики от объятых страстью и от догмы – обоснования. В мессианских писаниях Достоевского, в политических, в литературных произведениях понятия кружатся в бешеной скачке. Россия – то Христос, то Бог, то царство Петра Великого, то новый Рим, сочетание духа и могущества, папской тиары и царской короны, его столица – то Москва, то Царьград, то новый Иерусалим. Самые смиренные идеалы всечеловечества резко сменяются властолюбивыми славянофильскими завоевательскими стремлениями, поразительно меткие политические гороскопы – с фантастическими, апокалиптическими обетованиями. То загоняет он понятие России в тиски политического момента, то бросает его в беспредельность, создавая здесь ту же шипящую смесь воды и огня, реализма и фантастики, что и в художественных произведениях. Демоническое начало его природы, исступленность преувеличения, втиснутая в романах в известные рамки, проявляется здесь в пифических судорогах. Со всей силой пламенной страсти проповедует он Россию как спасение мира, как единственный путь к блаженству. Никогда национальная идея как идея мировая не была возведена Европе вышекомернее, гениальнее, завлекательнее, соблазнительнее, пьянительнее, восторженнее, чем русская идея в книгах Достоевского.

Неорганическим наростом на великом образе кажется сперва этот фанатик своей расы, этот беспощадный, исступленный русский монах, этот вышекомерный памфлетист, этот недоверенный пророк. Но он-то именно и нужен для цельности личности Достоевского. Всякий раз, как мы встречаем какую-нибудь непонятную черту в образе Достоевского, мы должны искать ее необходимость в контрасте. Не надо забывать: Достоевский всегда – утверждение и отрицание, самоуничтожение и сомнение, доведенный до предела контраст. И это преувеличенное вышекомерие – только обратная сторона преувеличенного смирения, его повышенное сознание народности – только другой полюс ощущения личного ничтожества. Он точно делит себя на две половины: на гордость и на смирение. Свою личность он унижает; если порыться в двадцати томах его произведений, то не найдешь ни одного чванного, гордого, надменного слова! Встретишь только умаление, обвинение, унижение своей личности. И весь запас своей гордости он вливает в свою расу, в идею своего народа. Все, что относится к его единичной личности, он уничтожает; все, что относится к безличному, русскому, всечеловеческому, он возносит до обожествления. От религиозного неверия он становится проповедником Бога, от неуверенности в себе – провозвестником своего народа и человечества. И в области идей он – мученик, распявший себя на кресте, чтобы спасти идею.

В этом его великая тайна: оплодотворить себя противоречиями. Растянуть их до бесконечности, охватить весь мир и порожденную ими силу направить на будущее. Другие писатели обычно создают свой идеал, исходя из своей личности, изображая себя очищенными, возвышенными, созерцая будущего человека как облагороженный образ самих себя. Достоевский, человек противоречий, созидатель дуалист, творит свой идеал, своего Бога, посредством антитезы себе самому: он снижает себя, живого, до роли негатива. Он хочет быть лишь

материалом, глиной, из которой лепят форму: левому в будущем изображении соответствует правое, его углублениям – высь, его сомнениям – вера, его разладу – единство. Он уничтожает себя, чтобы воскреснуть в будущем человеке.

Потому идеал Достоевского – быть не таким, каков он сам; чувствовать не так, как он чувствует; мыслить не так, как он мыслит; жить не так, как он живет. До мельчайших подробностей, черта за чертой, новый человек является прямой противоположностью его личности, из каждой тени его существа возникает свет, из мрака – сияние. Из отрицания себя он создает страстное утверждение нового человечества. Вплоть до физического облика продолжает он это беспримерное моральное осуждение себя самого во имя будущего человека, уничтожение индивидуального человека ради всечеловека. Возьмите его портрет, фотографию, посмертный снимок и положите его рядом с изображениями тех людей, из которых он формирует свой идеал: рядом с Алешей Карамазовым, со старцем Зосимой, князем Мышкиным, с этими тремя набросанными им эскизами русского Христа, спасителя. Вплоть до мельчайших подробностей каждая линия будет противоположностью и контрастом его облика. Лицо Достоевского угрюмо, исполнено таинственности и мрака, у них – ясный, умиротворенный, открытый лик; у него голос хриплый и отрывистый, у них – нежный и тихий. У него волосы спутанные и темные, глаза – глубокие и беспокойные, у них – лик светлый, обрамленный мягкими прядями волос, их глаза блестят без тревоги и страха. Он определенно указывает, что они смотрят прямо, и взор их выражает ласковую улыбку, как у детей. Его тонкие губы окружены складками насмешки и страсти, они не умеют улыбаться, – у Алеши и Зосимы сияет на устах обнажающая белые зубы свободная улыбка уверенных в себе людей. Так противопоставляет он черта за чертой свой облик, как негатив, новому образу. Его лицо говорит о связанном человеке, рабе всех страстей, отягощенном мыслями, – их лица выражают внутреннюю свободу и равновесие. Он – разлад, дуализм; они – гармония, цельность. Он – индивидуалист, замкнутый в себе; они – «всечеловеки», их существо до краев наполнено Богом.

Созидание нравственного идеала из самоуничтожения – никогда, ни в одной области духовного и морального, не было оно осуществлено с большей полнотой. В самоосуждении, словно вскрывая вены своего существа, собственной кровью рисует он образ будущего человека. Он был страстным, судорожным человеком, человеком внезапных звериных порывов, его восхищение – вспыхивающее от взрыва чувств или нервов пламя; в них – нежное, но вечно деятельное, целомудренное тепло. Они обладают спокойным постоянством, более плодотворным, чем буйные прыжки экстаза, истинным смирением, не боящимся насмешки; они – не униженные и оскорбленные, как он, они не скованы и не согнуты. С каждым они могут говорить, и каждый найдет утешение в их обществе – они не страдают вечной истерической боязнью обидеть или быть обиженными, они не оглядываются вопрошающе кругом при каждом шаге. Бог не мучит их, он дарит их благодатью. Они все знают, и именно потому, что они все знают, они все понимают; они не судят и не осуждают; они не исследуют деяния, а благодарно верят. Странно: он, вечно встревоженный, видит в спокойном, просветленном человеке высшую форму жизни; пребывая в вечном разладе, он постулирует как высший идеал – единство; мятежник – он боготворит покорность. Его мучительное стремление к Богу стало их радостью в Боге, его сомнения – уверенностью, его истерия – здоровьем, его страдание – всеобъемлющим счастьем. Последнее и высшее благо для него – то, чего он сам, познававший и так много познавший, никогда не испытал, и чего он поэтому жаждет для человечества, наивности, сердечного простодушия, нежной, естественной радости.

Взгляните на любимых героев: они выступают с нежной улыбкой на устах; они все познали и не возгордились; они пребывают в тайне жизни не как в огненной долине, а обволакивая себя ею, как голубым небом. Они победили страдания и страх, изначальных врагов человеческого существования, поэтому они стали блаженными в бесконечном братстве творе-

няя. Они освободились от своего «я». Высшее счастье детей земли в безличности – так величайший индивидуалист претворяет мудрость Гете в новую веру.

История духа не знает ни одного примера подобного морального самоуничтожения души человека, столь плодотворного создания идеала из контраста. Мученик, сам создававший себе мученья, Достоевский распял себя на кресте: он принес в жертву свое познание, чтобы свидетельствовать веру, свое тело, чтобы средствами искусства создать нового человека, свою личность во имя всеобщности. Он хочет гибели своего «я», как типа, во имя более счастливого, лучшего человечества; все страдания он берет на себя ради счастья других. И тот, кто шестьдесят лет тянулся к бесконечно болезненной шире своих контрастов, кто разрыл себя до последних глубин, чтобы найти Бога и смысл жизни, – отбрасывает приобретенную мудрость ради нового человечества, которому он выдает свою сокровеннейшую тайну, последний забываемый завет: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее».

Vita triumphatrix¹³

Что б ни было, жизнь все же хороша.

Гете

Как мрачен путь к глубинам Достоевского, как сумрачен его ландшафт, как подавляет его беспредельность, таинственно сходная с его трагическим лицом, на котором изваяны все горести жизни! Гибельные адские круги сердца, багровые огни чистилища души, глубочайшая шахта, врытая когда-либо смертной рукой в преисподнюю чувства! Сколько тьмы в этом человеческом мире, сколько страданий в этой тьме! О, сколько печали на его земле, «пропитанной слезами от коры до центра», какие адские круги в ее глубине – мрачнее тех, что провидец Данте узрел столетия назад! Тщетно ожидающие искупленья жертвы земного, мученики чувства, обвитые змеями страсти, терзаемые бичами духа, изнывающие в буйстве напрасного бунта, – о, что это за мир, мир Достоевского! Замурована всякая радость, изгнана всякая надежда, нет спасенья от страданий, бесконечно высокой стеной окружающих свои жертвы. Неужели никакое состраданье не может извлечь их из этих глубин? Не взорвет ли апокалиптический час этот ад, который сотворил человек из своих мучений?

Из этой бездны несутся стоны, каких не слышал доселе человек. Никогда не было сосредоточено больше мрака в одном произведении. Даже образы Микеланджело мягче в своей печали, и над пропастью Данте сияет луч благодатного рая. Неужели в произведениях Достоевского жизнь – вечная ночь, и страдания – смысл жизни? Трепетно страдает над пропастью дух, слыша только о муках и горестях братьев.

Но вот раздается тихое слово из глуби и возносится ввысь, как голубь, взмахнувший крылами над бурным морем. Тихо оно прозвучало, но велик его смысл, – блаженное слово: «Милые друзья, не бойтесь жизни». И есть в этом слове безмолвье, и трепетно слушают глуби и высь; все выше над бездной мученья возносится голос, гласящий: «На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением».

Кто произнес это светлое слово страданья? Тот, кто страдал больше всех, – Достоевский. Еще пригвождены к кресту разлада его ладони, зияют раны на хрупком теле, но покорно целует он крест своей жизни, и нежны уста, выдающие братьям великую тайну: «Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить».

И вот брезжит день из слова – апокалиптический час. Открылись гробы и тюрьмы: они встают из глубин, мертвые и заключенные, все, все они приближаются, все восстают из своей печали, чтобы стать апостолами его слова. Они спешат из темниц, с сибирской каторги, звеня цепями, из тесных углов, из публичных домов, из монастырских келий – все они, страсто-терпцы страсти; еще не отмыта кровь с их рук, еще горит клеймо на щеках, еще томит их гнев и недуг, но жалобы нет уже на устах, и их слезы сверкают надеждой. О, вечное чудо Валаама, проклятье становится благословеньем в их горячих устах, когда они слышат «Осанна!» учителя, «Осанна!» – «сквозь все чистилища сомнений». Самые скорбные будут первыми, самые печальные – самыми верующими, все они теснятся, чтобы свидетельствовать его слова. И на пересохших, шершавых губах, как великий хорал, с первобытной мощью экстаза пенится гимн страданью, гимн жизни. Все они, все явились, мученики, чтобы воспевать жизнь. Дмитрий Карамазов, невинно осужденный, с цепями на руках, радостно восклицает от полноты своей силы: «Я все поборю, все страданья, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: „В тысяче мук – я есмь, в пытке корчусь – но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть“». И брат Иван рядом с ним провозглашает: „Нет в мире

¹³ Жизнь – победительница.

такого отчаяния, чтобы победило во мне жажду жизни“. И, как луч, проникает в его грудь экстаз бытия, и атеист, ликуя, восклицает: „Принимаю Бога, принимаю и премудрость его, верую в смысл жизни“. Со смертного одра подымается, сложив руки, будто для молитвы, вечно сомневающийся Степан Трофимович и бормочет: „О, я бы очень желал опять жить! Каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть блаженством человеку“. Все громче, все чаще, все возвышеннее звучат голоса. Князь Мышкин, смущенный, несомый колеблющимися крыльями блуждающих чувств, простирает руки и мечтает: „Я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его... Сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потрепанный человек находит прекрасными?“ Старец Зосима проповедует: „Сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь... Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью“. И даже „Человек из подполья“, маленький, запуганный, безымянный, в своем потертом пальтишке подходит и простирает руки: „Жизнь – красота, смысл ее – в страданиях, о, как прекрасна жизнь!“ – слышится затаенный возглас в его словах. „Смешной человек“ пробуждается от своего сна, чтобы „проповедывать жизнь“. Все они, все подползают, как черви, из углов своего существования, чтобы и их голос звучал в великом хорале. Никто не хочет умереть, никто не хочет покинуть жизнь, так свято любимую, нет страдания достаточно глубокого, чтобы променять его на смерть, на вечного врага. И этот ад, мрак отчаяния, как эхо, подхватывает гимн судьбе; в чистилище возгорается фанатическое пламя благодарности. Струится свет, бесконечный свет, небо Достоевского разверзается над землей, и гремит последнее слово Достоевского, слово Алеши к детям в речи у большого камня, святой варварский клич: „Как хороша жизнь!“

О жизнь, чудесная, сознательной волей создающая себе мучеников, чтобы они тебя воспевали! О жизнь, мудро-жестокая, страданиями побеждающая самых сильных, чтобы они возвещали твоё торжество! Ты вечно хочешь слышать вопль Иова, звучащий сквозь тысячелетия, – когда в испытаниях он познает Бога, и радостное пение отроков Даниила, – когда их тело горит в огненной печи. Вечно разжигаешь ты звенящий уголь на языке поэтов и обращаешь их в страдальцев, чтобы они повиновались тебе и с любовью произносили имя твоё. Бетховена ты поразила, чтобы глухой услышал грохотание Бога и, смерти коснувшись, создал гимн радости; Рембрандта гонишь во тьму нищеты, чтобы в красках искал он твой свет, твой изначальный свет; Данте лишаешь ты родины, чтобы узрел он в видениях небо и ад, – всех ты загнала бичом в беспредельность. И тот, кого ты бичевала всех больше, – и он стал твоим рабом. С пеной на устах, корчась в болезни, он возглашает «Осанна!» тебе, «Осанна!» – «сквозь горнило сомнений». О, ты побеждаешь людей, осужденных тобой на страданье, ночь обращаешь ты в день, страданье – в любовь, из ада ты слышишь святую хвалу! Ибо много страдавший – высший мудрец, и благословит тебя тот, кто познал. И лишь тот, кто познал всю твою глубину, сумел тебя так возлюбить, сумел тебя так воссоздать.

Часть первая

Глава первая

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное – от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я – не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, – может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я – кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой – Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я – законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный

сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версиров (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версирова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «Бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставляю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вылиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителяшка, гувернер, инспектор, поп – все, кто угодно, спрося мою фамилию и услышав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

– Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

– Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствующим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузющийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

– Как твоя фамилия?

– Долгорукий.

– Князь Долгорукий?

– Нет, *просто* Долгорукий.

– А, *просто*! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

– Нет, я – сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

– Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей – впрочем, он один и был – нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

– Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унижительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это – Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна – существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неспособен, как крепостной, подозревая Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и действительно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», – по собственному удивительному его выражению, – вот он каков

был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про все это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что все вышло *так*. Верю, что так, и русское словцо это: *так* – прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытною стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, – он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антон Горемыку» и «Полиньку Сакс» – две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антон Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, – и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало

быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версиров мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антон Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла *mademoiselle* Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных*, которую не то что полюбишь, – напротив, вовсе нет, – а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? – это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почтить его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо *сбеды*. (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена *mademoiselle* Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о Господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версиров, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версиров, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расходился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней поломойки, несмотря на все свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версиров, – это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого – и прогрессисты и ретрограды) – не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романтическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь – это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь – это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и,

сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты*, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то Бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель – это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она – она в то время лежала где-то в забытии, в своей дворовой клетушке...

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версиков, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвергивалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя – болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, – так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиковы ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно приешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения – и все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»...

«Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версиров, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версирова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это – смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помещою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версирова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль – то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версиров,

отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версиров, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, – этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, – словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, – рассуждал я, – во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного*, то тотчас же с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, – продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, – никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), – эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец – это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь, – и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне – предупреждаю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версиров мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать – похоже на бред или облако.

VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимоходом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою (последнюю я увидал в первый раз в жизни), при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но все же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версильов не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, тайно от Версильова, мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версильов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версильов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версильова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, – не говоря уже о том, что все еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версильова с князьями Сокольскими, и Версильов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версильов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версильов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад, как он *выгнан* из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненною, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версильов – вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и – что хуже всего в глазах «света» – скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версильова). Впрочем,

приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, – до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом – вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свой силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непонимаем; но сам я не унился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но... «или он, или я» – вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

Глава вторая

I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же – значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версиков вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде – одного молодого офицера. Версиков еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версикова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно хотелось тоже сделать угодное Версикову, так сказать первый шаг к нему, а Версиков *позволил*. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версикову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжает питать уважение к Версикову, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распушенные толки о подлости Версикова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся все это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась Бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроить, – при поступлении ли в пансиончик Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устраивала, одним словом, все мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом все время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими вострыми глазками. Версикову она служила, как раба, и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное – решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые

дети Версилова тоже; у Фанариотовых тоже, – а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудака произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версиров уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версирова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадков в нем развилась какая-то особенная склонность поскорее жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им благодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молодого, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду – или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и французенками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Все это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве нарождали еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, все это являлось поздравлять с именинами, и все это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнезилось одно тяжелое убеждение – и этого никак нельзя было не заметить, – что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его все еще подозревают помешанным, видимо его мучила; даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот злобнейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводи-

лось его иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счета и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в сердце, а главное – мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам – от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

II

Спрашивать денег – прегадка история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье? Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

– А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит:

– За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счета.

Ему, впрочем, безызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеров. Надо было все это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забилося сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версильовым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней

говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, – целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно: проговори-лась при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслуши-вал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он – совсем баба; но потом должен был перезаклучить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его – по-видимому, трусливым и поддающимся – почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версильов объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версильове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но все о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоуме-нием всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, – и милый вышел бы това-рищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые выющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухощав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версильову, который с любопытством меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах – о Боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него находило – и он вдруг начинал сомневаться в бытии Божиим и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень увлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настро-ении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же об жалованье – до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), – и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его,

изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

III

— ...Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! — бессвязно заключил я мою длинную тираду.

— Голубчик, пощади! — вскричал он, ужасно развеселившись, что еще пуще обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских приемах, со мной Бог знает что можно сделать, и я всегда проклиная в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Все это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но — прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, — почти закричал я на него, — я просто высказываю убеждение.

— Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, — я об дамах говорю — так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданию слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, — вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песку!

— Песку!

— Да; потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто! Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подло. Пусть любят старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнею характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило с рук? — полюбопытствовал князь.

— Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе с хвостами, на бульваре, — разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

— Так и выразился?

– Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, все равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, но намеком.

– Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

– Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

– Неужто?

– Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они протащили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, – я должен сознаться, весьма приличный, – а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я – на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

– Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщит здоровьем и – такое, можно сказать, отвращение от женщин! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, *mon cher*,¹⁴ еще одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

– Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

– Серьезно? Но, *cher enfant*,¹⁵ от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

– У меня был в прежнем пансионике, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он все меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хотя он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он все мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать – вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на все плюет, и что

¹⁴ Мой милый (*франц.*).

¹⁵ Дорогое дитя (*франц.*).

все, что они говорят про причастие, – вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я все это и увидел... про что вам говорил... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготы; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

– *Mon pauvre enfant!*¹⁶ Я всегда был убежден, что в твоём детстве было очень много несчастных дней.

– Не беспокойтесь, пожалуйста.

– Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год, он о своей матери с аббатом... О *mon cher*, этот детский вопрос в наше время просто страшен: покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, – то точно ангелы Божии или прелестные птички; а потом... а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем!

– Какой вы, князь, расслабленный! И точно у вас у самих дети. Ведь у вас нет детей и никогда не будет.

– *Tiens!*¹⁷ – мгновенно изменилось все лицо его, – как раз Александра Петровна, – третьего дня, хе-хе! – Александра Петровна Синицкая, – ты, кажется, ее должен был здесь встретить недели три тому, – представь, она третьего дня вдруг мне, на мое веселое замечание, что если я теперь женюсь, то по крайней мере могу быть спокоен, что не будет детей, – вдруг она мне и даже с этакою злостью: «Напротив, у вас-то и будут, у таких-то, как вы, и бывают *непрерывно*, с первого даже года пойдут, увидите». Хе-хе! И все почему-то вообразили, что я вдруг женюсь; но хоть и злобно сказано, а согласись – остроумно.

– Остроумно, да обидно.

– Ну, *cher enfant*, не от всякого можно обидеться. Я ценю больше всего в людях остроумие, которое видимо исчезает, а что там Александра Петровна скажет – разве может считаться?

– Как, как вы сказали? – привязался я, – не от всякого можно... именно так! Не всякий стоит, чтобы на него обращать внимание, – превосходное правило! Именно я в нем нуждаюсь. Я это запишу. Вы, князь, говорите иногда премилые вещи.

Он так весь и просиял.

¹⁶ Мое бедное дитя! (*франц.*)

¹⁷ Кстати! (*франц.*)

– N'est-ce pas?¹⁸ Cher enfant, истинное остроумие исчезает, чем дальше, тем пуще. Eh, mais... C'est moi qui connaît les femmes!¹⁹ Поверь, жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это – вечное искание, кому бы подчиниться... так сказать, жажда подчиниться. И заметь себе – без единого исключения.

– Совершенно верно, великолепно! – вскричал я в восхищении. В другое время мы бы тотчас же пустились в философские размышления на эту тему, на целый час, но вдруг меня как будто что-то укусило, и я весь покраснел. Мне представилось, что я, похвалами его бонмо, подлещаюсь к нему перед деньгами и что он непременно это подумает, когда я начну просить. Я нарочно упоминаю теперь об этом.

– Князь, я вас покорнейше прошу выдать мне сейчас же должны мне вами пятьдесят рублей за этот месяц, – выпалил я залпом и раздражительно до грубости.

Помню (так как я помню все это утро до мелочи), что между нами произошла тогда прегадкая, по своей реальной правде, сцена. Он меня сперва не понял, долго смотрел и не понимал, про какие это деньги я говорю. Естественно, что он и не воображал, что я получаю жалованье, – да и за что? Правда, он стал уверять потом, что забыл, и, когда догадался, мигом стал вынимать пятьдесят рублей, но заторопился и даже покраснелся. Видя, в чем дело, я встал и резко заявил, что не могу теперь принять деньги, что мне сообщили о жалованье, очевидно, ошибочно или обманом, чтоб я не отказался от места, и что я слишком теперь понимаю, что мне не за что получать, потому что никакой службы не было. Князь испугался и стал уверять, что я ужасно много служил, что я буду еще больше служить и что пятьдесят рублей так ничтожно, что он мне, напротив, еще прибавит, потому что он обязан, и что он сам рядился с Татьяной Павловной, но «непростительно все позабыл». Я вспыхнул и окончательно объявил, что мне низко получать жалованье за скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, что я не потешать его нанялся, а заниматься делом, а когда дела нет, то надо покончить и т. д., и т. д. Я и представить не мог, чтобы можно было так испугаться, как он, после этих слов моих. Разумеется, покончили тем, что я перестал возражать, а он всучил-таки мне пятьдесят рублей: до сих пор вспоминаю с краской в лице, что их принял! На свете всегда подлостью оканчивается, и, что хуже всего, он тогда сумел-таки почти доказать мне, что я заслужил неоспоримо, а я имел глупость поверить, и притом как-то решительно невозможно было не взять.

– Cher, cher enfant! – восклицал он, целуя меня и обнимая (признаюсь, я сам было заплакал черт знает с чего, хоть мигом воздержался, и даже теперь, как пишу, у меня краска в лице), – милый друг, ты мне теперь как родной; ты мне в этот месяц стал как кусок моего собственного сердца! В «свете» только «свет» и больше ничего; Катерина Николаевна (дочь его) блестящая женщина, и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает... Ну, а эти девочки (elles sont charmantes²⁰) и их матери, которые приезжают в именины, – так ведь они только свою канву привозят, а сами ничего не умеют сказать. У меня на шестьдесят подушек их канвы накоплено, все собаки да олени. Я их очень люблю, но с тобой я почти как с родным – и не сыном, а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться...

– Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а последние два года совсем ничего не читал и не буду читать.

– Почему не будешь?

– У меня другие цели.

¹⁸ Не правда ли? (франц.)

¹⁹ А между тем... Я-то знаю женщин! (франц.)

²⁰ Они очаровательны (франц.).

– Cher... жаль, если в конце жизни скажешь себе, как и я: *je sais tout, mais je ne sais rien de bon.*²¹ Я решительно не знаю, для чего я жил на свете! Но... я тебе столько обязан... и я даже хотел...

Он как-то вдруг оборвал, раскис и задумался. После потрясений (а потрясения с ним могли случаться поминутно, Бог знает с чего) он обыкновенно на некоторое время как бы терял здравость рассудка и переставал управлять собой; впрочем, скоро и поправлялся, так что все это было не вредно. Мы просидели с минуту. Нижняя губа его, очень полная, совсем отвисла... Всего более удивило меня, что он вдруг упомянул про свою дочь, да еще с такою откровенностью. Конечно, я приписал расстройству.

– Cher enfant, ты ведь не сердишься за то, что я тебе *ты* говорю, не правда ли? – вырвалось у него вдруг.

– Нисколько. Признаюсь, сначала, с первых разов, я был несколько обижен и хотел вам самим сказать *ты*, но увидал, что глупо, потому что не для того же, чтоб унижить меня, вы мне *ты* говорите?

Он уже не слушал и забыл свой вопрос.

– Ну, что *отец*? – поднял он вдруг на меня задумчивый взгляд.

Я так и вздрогнул. Во-первых, он Версилова обозначил моим *отцом*, чего бы он себе никогда со мной не позволил, а во-вторых, заговорил о Версиллове, чего никогда не случалось.

– Сидит без денег и хандрит, – ответил я кратко, но сам сгорая от любопытства.

– Да, насчет денег. У него сегодня в окружном суде решается их дело, и я жду князя Сережу, с чем-то он придет. Обещался прямо из суда ко мне. Вся их судьба; тут шестьдесят или восемьдесят тысяч. Конечно, я всегда желал добра и Андрею Петровичу (то есть Версиллову), и, кажется, он останется победителем, а князя ни при чем. Закон!

– Сегодня в суде? – воскликнул я, пораженный.

Мысль, что Версильов даже и это пренебрег мне сообщить, чрезвычайно поразила меня. «Стало быть, не сказал и матери, может, никому, – представилось мне тотчас же, – вот характер!»

– А разве князь Сокольский в Петербурге? – поразила меня вдруг другая мысль.

– Со вчерашнего дня. Прямо из Берлина, нарочно к этому дню.

Тоже чрезвычайно важное для меня известие. «И он придет сегодня сюда, этот человек, который дал *ему* пощечину!»

– Ну и что ж, – изменилось вдруг все лицо князя, – проповедует Бога по-прежнему, и, и... пожалуй, опять по девочкам, по неоперившимся девочкам? Хе-хе! Тут и теперь презабавный наклеивается один анекдот... Хе-хе!

– Кто проповедует? Кто по девочкам?

– Андрей Петрович! Веришь ли, он тогда пристал ко всем нам, как лист: что, дескать, едим, об чем мыслим? – то есть почти так. Пугал и очищал: «Если ты религиозен, то как же ты не идешь в монахи?» Почти это и требовал. *Mais quelle idee!*²² Если и правильно, то не слишком ли строго? Особенно меня любил Страшным судом пугать, меня из всех.

– Ничего этого я не заметил, вот уж месяц с ним живу, – отвечал я, вслушиваясь с нетерпением. Мне ужасно было досадно, что он не оправился и мямлил так бессвязно.

– Это он только не говорит теперь, а поверь, что так. Человек остроумный, бесспорно, и глубокоученый; но правильный ли это ум? Это все после трех лет его за границей с ним произошло. И, признаюсь, меня очень потряс... и всех потрясал... Cher enfant, j'aime le bon Dieu...²³ Я верую, верую сколько могу, но – я решительно вышел тогда из себя. Положим, что я

²¹ Я знаю все, но не знаю ничего хорошего (франц.).

²² Но что за мысль! (франц.)

²³ Дорогое дитя, я люблю Боженьку (франц.).

употребил прием легкомысленный, но я это сделал нарочно, в досаде, – и к тому же сущность моего возражения была так же серьезна, как была и с начала мира: «Если высшее существо, – говорю ему, – есть, и существует *персонально*, а не в виде разлитого там духа какого-то по творению, в виде жидкости, что ли (потому что это еще труднее понять), – то где же он живет?» Друг мой, *c'était bête*,²⁴ без сомнения, но ведь и все возражения на это же сводятся. *Un domicile*²⁵ – это важное дело. Ужасно рассердился. Он там в католичество перешел.

– Об этой идее я тоже слышал. Наверно, вздор.

– Уверяю тебя всем, что есть свято. Вглядись в него... Впрочем, ты говоришь, что он изменился. Ну а в то время как он нас всех тогда измучил! Веришь ли, он держал себя так, как будто святой, и его мощи явятся. Он у нас отчета в поведении требовал, клянусь тебе! Мощи! *En voilà une autre!*²⁶ Ну, пусть там монах или пустынник, – а тут человек ходит во фраке, ну, и там все... и вдруг его мощи! Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус. Я там ничего не говорю: конечно, все это святыня и все может случиться... К тому же все это *de l'inconnu*,²⁷ но светскому человеку даже и неприлично. Если бы как-нибудь случилось со мной, или там мне предложили, то, клянусь, я бы отклонил. Ну я, вдруг, сегодня обедаю в клубе и вдруг потом – являюсь! Да я насмешу! Все это я ему тогда же и изложил... Он вериги носил.

Я покраснел от гнева.

– Вы сами видели вериги?

– Я сам не видал, но...

– Так объявляю же вам, что все это – ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов, то есть одного врага, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг и есть – это ваша дочь!

Князь вспыхнул в свою очередь.

– *Mon cher*, я прошу тебя и настаиваю, чтоб отныне никогда впредь при мне не упоминать рядом с этой гнусной историей имя моей дочери.

Я приподнялся. Он был вне себя; подбородок его дрожал.

– *Cette histoire infâme!*..²⁸ Я ей не верил, я не хотел никогда верить, но... мне говорят: верь, верь, я...

Тут вдруг вошел лакей и возвестил визит; я опустился опять на мой стул.

IV

Вошли две дамы, обе девицы, одна – падчерица одного двоюродного брата покойной жены князя, или что-то в этом роде, воспитанница его, которой он уже выделил приданое и которая (замечу для будущего) и сама была с деньгами; вторая – Анна Андреевна Версилова, дочь Версилова, старше меня тремя годами, жившая с своим братом у Фанариотовой и которую я видел до этого времени всего только раз в моей жизни, мельком на улице, хотя с братом ее, тоже мельком, уже имел в Москве стычку (очень может быть, и упомяну об этой стычке впоследствии, если место будет, потому что в сущности не стоит). Эта Анна Андреевна была с детства своего особенною фавориткой князя (знакомство Версилова с князем началось ужасно давно). Я был так смущен только что происшедшим, что, при входе их, даже не встал, хотя князь встал им навстречу; а потом подумал, что уж стыдно вставать, и остался на месте. Глав-

²⁴ Это было глупо (*франц.*).

²⁵ Место жительства (*франц.*).

²⁶ Вот еще идея! (*франц.*)

²⁷ Из области неведомого (*франц.*).

²⁸ Эта мерзкая история!.. (*франц.*)

ное, я был сбит тем, что князь так закричал на меня три минуты назад, и все еще не знал: уходить мне или нет. Но старик мой уже все забыл совсем, по своему обыкновению, и весь приятно оживился при виде девиц. Он даже, с быстро переменившейся физиономией и как-то таинственно подмигивая, успел прошептать мне наскоро пред самым их входом:

– Вглядишься в Олимпиаду, гляди пристальнее, пристальнее... потом расскажу...

Я глядел на нее довольно пристально и ничего особенного не находил: не так высокого роста девица, полная и с чрезвычайно румяными щеками. Лицо, впрочем, довольно приятное, из нравящихся материалистам. Может быть, выражение доброты, но со складкой. Особенной интеллекцией не могла блистать, но только в высшем смысле, потому что хитрость была видна по глазам. Лет не более девятнадцати. Одним словом, ничего замечательного. У нас в гимназии сказали бы: подушка. (Если я описываю в такой подробности, то единственно для того, что понадобится в будущем.)

Впрочем, и все, что описывал до сих пор, по-видимому с такой ненужной подробностью, – все это ведет в будущее и там понадобится. В своем месте все отзовется; избежать не умел; а если скучно, то прошу не читать.

Совсем другая особа была дочь Версилова. Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот. Первая женщина, которая мне не внушала омерзения походкой; впрочем, она была тонка и сухожава. Выражение лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. Почти ни одной наружной черты сходства с Версильовым, а между тем, каким-то чудом, необыкновенное сходство с ним в выражении физиономии. Не знаю, хороша ли она собой; тут как на вкус. Обе были одеты очень скромно, так что не стоит описывать. Я ждал, что буду тотчас обижен каким-нибудь взглядом Версильовой или жестом, и приготовился; обидел же меня ее брат в Москве, с первого же нашего столкновения в жизни. Она меня не могла знать в лицо, но, конечно, слышала, что я хожу к князю. Все, что предполагал или делал князь, во всей этой куче его родных и «ожидающих» тотчас же возбуждало интерес и являлось событием, – тем более его внезапное пристрастие ко мне. Мне положительно было известно, что князь очень интересовался судьбой Анны Андреевны и искал ей жениха. Но для Версильовой было труднее найти жениха, чем тем, которые вышивали по канве.

И вот, против всех ожиданий, Версильова, пожав князю руку и обменявшись с ним какими-то веселыми светскими словечками, необыкновенно любопытно посмотрела на меня и, видя, что я на нее тоже смотрю, вдруг мне с улыбкою поклонилась. Правда, она только что вошла и поклонилась как вошедшая, но улыбка была до того добрая, что, видимо, была преднамеренная. И, помню, я испытал необыкновенно приятное ощущение.

– А это... а это – мой милый и юный друг Аркадий Андреевич Дол... – пролепетал князь, заметив, что она мне поклонилась, а я все сижу, – и вдруг осекся: может, сконфузился, что меня с ней знакомит (то есть, в сущности, брата с сестрой). Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преглупо вскипел и вскочил с места: прилив выделанной гордости, совершенно бессмысленной; все от самолюбия.

– Извините, князь, я – не Аркадий Андреевич, а Аркадий Макарович, – резко отрезал я, совсем уж забыв, что нужно бы ответить дамам поклоном. Черт бы взял эту неблагопристойную минуту!

– Mais... tiens!²⁹ – вскричал было князь, ударив себя пальцем по лбу.

– Где вы учились? – раздался надо мной глупенький и протяжный вопрос прямо подошедшей ко мне подушки.

– В Москве-с, в гимназии.

– А! Я слышала. Что, там хорошо учат?

²⁹ Ах, да! (франц.)

– Очень хорошо.

Я все стоял, а говорил точно солдат на рапорте.

Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она таки нашлась, чем замаять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой улыбкою какое-то веселое нашептыванье ему на ухо Версиловой, – видимо, не обо мне. Но вопрос: зачем же эта девица, совсем мне незнакомая, выискалась заминать мою глупую выходку и все прочее? Вместе с тем невозможно было и представить себе, что она обращалась ко мне только так: тут было намерение. Смотрела она на меня слишком любопытно, точно ей хотелось, чтоб и я ее тоже очень заметил как можно больше. Все это я уже после сообразил и – не ошибся.

– Как, разве сегодня? – вскричал вдруг князь, срываясь с места.

– Так вы не знали? – удивилась Версилова. – Оlympe! князь не знал, что Катерина Николаевна сегодня будет. Мы к ней и ехали, мы думали, она уже с утренним поездом и давно дома. Сейчас только съехались у крыльца: она прямо с дороги и сказала нам пройти к вам, а сама сейчас придет... Да вот и она!

Отворилась боковая дверь и – *та женщина появилась!*

Я уже знал ее лицо по удивительному портрету, висевшему в кабинете князя; я изучал этот портрет весь этот месяц. При ней же я провел в кабинете минуты три и ни на одну секунду не отрывал глаз от ее лица. Но если б я не знал портрета и после этих трех минут спросили меня: «Какая она?» – я бы ничего не ответил, потому что все у меня заволокло.

Я только помню из этих трех минут какую-то действительно прекрасную женщину, которую князь целовал и крестил рукой и которая вдруг быстро стала глядеть – так-таки прямо только что вошла – на меня. Я ясно расслышал, как князь, очевидно показав на меня, пробормотал что-то, с маленьким каким-то смехом, про нового секретаря и произнес мою фамилию. Она как-то вздернула лицо, скверно на меня посмотрела и так нахально улыбнулась, что я вдруг шагнул, подошел к князю и пробормотал, ужасно дрожа, не доканчивая ни одного слова, кажется стуча зубами:

– С тех пор я... мне теперь свои дела... Я иду.

И я повернулся и вышел. Мне никто не сказал ни слова, даже князь; все только глядели. Князь мне передал потом, что я так побледнел, что он «просто струсил».

Да нужды нет!

Глава третья

I

Именно нужды не было: высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за все. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно, было прелестное утро, солнце, прохожие, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, – это все равно, – с моей стороны? Заметьте, она уж и ехала с тем, чтоб меня поскорей оскорбить, еще никогда не видав: в глазах ее я был «подсылный от Версилова», а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа; подозревала по крайней мере это. Тут была дуэль на смерть. И вот – оскорблен я не был! Оскорбление было, но я его не почувствовал! Куда! я даже был рад; приехав ненавидеть, я даже чувствовал, что начинаю любить ее. «Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит? Миленькая мушка! Мне кажется, жертву любят; по крайней мере можно любить. Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударыня, что вы так надменны и величественны: были бы вы помирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую; если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевром, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы – моя жертва, *моя*, а не *его*. Как обаятельна эта мысль! Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был стомиллионный богач, я бы, кажется, находил удовольствие именно ходить в самом стареньком платье и чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня: с меня было бы довольно одного сознания».

Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то Бог!

Может, я очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас, – всегда глубже, а на словах – смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко; а я стараюсь писать всю правду: это ужасно трудно!

II

В это девятнадцатое число я сделал еще один «шаг».

В первый раз с приезда у меня очутились в кармане деньги, потому что накопленные в два года мои шестьдесят рублей я отдал матери, о чем и упомянул выше; но уже несколько дней назад я положил, в день получения жалованья, сделать «пробу», о которой давно мечтал. Еще вчера я вырезал из газеты адрес – объявление «судебного пристава при С.-Петербургском мировом съезде» и проч., и проч. о том, что «девятнадцатого сего сентября, в двенадцать часов утра, Казанской части, такого-то участка и т. д., и т. д., в доме № такой-то, будет продаваться движимое имущество г-жи Лебрехт» и что «опись, оценку и продаваемое имущество можно рассмотреть в день продажи» и т. д., и т. д.

Был второй час в начале. Я поспешил по адресу пешком. Вот уже третий год как я не беру извозчиков – такое дал слово (иначе не скопил бы шестидесяти рублей). Я никогда не ходил на аукционы, я еще не *позволял* себе этого; и хоть теперешний «шаг» мой был только *примерный*, но и к этому шагу я положил прибегнуть лишь тогда, когда кончу с гимназией, когда порву со всеми, когда забьюсь в скорлупу и стану совершенно свободен. Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы – как только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только маленький, глупенький аукцион, а для меня – то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Америку. Вот мои тогдашние чувства.

Прибыв на место, я прошел в углубление двора обозначенного в объявлении дома и вошел в квартиру госпожи Лебрехт. Квартира состояла из прихожей и четырех небольших, невысоких комнат. В первой комнате из прихожей стояла толпа, человек даже до тридцати; из них наполовину торгующихся, а другие, по виду их, были или любопытные, или любители, или подосланные от Лебрехт; были и купцы, и жида, зарившиеся на золотые вещи, и несколько человек из одетых «чисто». Даже физиономии иных из этих господ врезались в моей памяти. В комнате направо, в открытых дверях, как раз между дверцами, вдвинут был стол, так что в ту комнату войти было нельзя: там лежали описанные и продаваемые вещи. Налево была другая комната, но двери в нее были притворены, хотя и отпирались поминутно на маленькую щелку, в которую, видно было, кто-то выглядывал – должно быть, из многочисленного семейства госпожи Лебрехт, которой, естественно, в это время было очень стыдно. За столом между дверями, лицом к публике, сидел на стуле господин судебный пристав, при знаке, и производил распродажу вещей. Я застал уже дело почти в половине; как вошел – протеснился к самому столу. Продавались бронзовые подсвечники. Я стал глядеть.

Я глядел и тотчас же стал думать: что же я могу тут купить? И куда сейчас дену бронзовые подсвечники, и будет ли достигнута цель, и так ли дело делается, и удастся ли мой расчет? И не детский ли был мой расчет? Все это я думал и ждал. Ощущение было вроде как перед игорным столом в тот момент, когда вы еще не поставили карту, но подошли с тем, что хотите поставить: «захочу поставлю, захочу уйду – моя воля». Сердце тут еще не бьется, но как-то слегка замирает и вздрагивает – ощущение не без приятности. Но нерешимость быстро начинает тяготить вас, и вы как-то слепнете: протягиваете руку, берете карту, но машинально, почти против воли, как будто вашу руку направляет другой; наконец вы решились и ставите – тут уж ощущение совсем иное, огромное. Я не про аукцион пишу, я только про себя пишу; у кого же другого может биться сердце на аукционе?

Были, что горячились, были, что молчали и выжидали, были, что купили и раскаивались. Я даже совсем не сожалел одного господина, который ошибкою, не расслышав, купил мельхиоровый молочник вместо серебряного, вместо двух рублей за пять; даже очень мне весело стало. Пристав варьировал вещи: после подсвечников явились серьги, после серег шитая сафьянная подушка, за нею шкатулка, – должно быть, для разнообразия или соображаясь с требованиями торгующихся. Я не выстоял и десяти минут, подвинулся было к подушке, потом к шкатулке, но в решительную минуту каждый раз осекался: предметы эти казались мне совсем невозможными. Наконец в руках пристава очутился альбом.

«Домашний альбом, в красном сафьяне, подержанный, с рисунками акварелью и тушью, в футляре из резной слоновой кости, с серебряными застежками – цена два рубля!»

Я подступил: вещь на вид изящная, но в костяной резьбе, в одном месте, был изъян. Я только один и подошел смотреть, все молчали; конкурентов не было. Я бы мог отстегнуть застежки и вынуть альбом из футляра, чтоб осмотреть вещь, но правом моим не воспользовался и только махнул дрожащей рукой: «дескать, все равно».

– Два рубля пять копеек, – сказал я, опять, кажется, стуча зубами.

Осталось за мной. Я тотчас же вынул деньги, заплатил, схватил альбом и ушел в угол комнаты; там вынул его из футляра и лихорадочно, наскоро, стал разглядывать: не считая футляра, это была самая дрянная вещь в мире – альбомчик в размер листа почтовой бумаги малого формата, тоненький, с золотым истершимся обрезом, точь-в-точь такой, как заводились в старину у только что вышедших из института девиц. Тушью и красками нарисованы были храмы на горе, амуры, пруд с плавающими лебедями; были стишки:

Я в путь далекий отправляюсь,
С Москвой надолго расстаюсь,
Надолго с милыми прощаюсь
И в Крым на почтовых несусь.

(Уцелели-таки в моей памяти!) Я решил, что «провалился»: если кому чего не надо, так именно этого.

«Ничего, – решил я, – первую карту непременно проигрывают; даже примета хорошая». Мне решительно было весело.

– Ах, опоздал; у вас? Вы приобрели? – вдруг раздался подле меня голос господина в синем пальто, видного собой и хорошо одетого. Он опоздал.

– Я опоздал. Ах, как жаль! За сколько?

– Два рубля пять копеек.

– Ах, как жаль! а вы бы не уступили?

– Выйдемте, – шепнул я ему, замирая.

Мы вышли на лестницу.

– Я уступлю вам за десять рублей, – сказал я, чувствуя холод в спине.

– Десять рублей! Помилуйте, что вы!

– Как хотите.

Он смотрел на меня во все глаза; я был одет хорошо, совсем не похож был на жида или перекупщика.

– Помилосердуйте, да ведь это – дрянной старый альбом, кому он нужен? Футляр в сущности ведь ничего не стоит, ведь вы же не продадите никому?

– Вы же покупаете.

– Да ведь я по особому случаю, я только вчера узнал: ведь этакий я только один и есть! Помилуйте, что вы!

– Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступитесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки.

Я повернулся и пошел.

– Да возьмите четыре рубля, – нагнал он меня уже на дворе, – ну, пять.

Я молчал и шагал.

– Нате, берите! – Он вынул десять рублей, я отдал альбом.

– А согласитесь, что это нечестно! Два рубля и десять – а?

– Почему нечестно? Рынок!

– Какой тут рынок? (Он сердился.)

– Где спрос, там и рынок; не спроси вы, – за сорок копеек не продал бы.

Я хоть не заливался хохотом и был серьезен, но хохотал внутри, – хохотал не то что от восторга, а сам не знаю отчего, немного задыхался.

– Слушайте, – пробормотал я совершенно неудержимо, но дружески и ужасно любя его, – слушайте: когда Джемс Ротшильд, покойник, парижский, вот что тысячу семьсот миллионов франков оставил (он кивнул головой), еще в молодости, когда случайно узнал, за несколько

часов раньше всех, об убийстве герцога Беррийского, то тотчас поскорее дал знать кому следует и одной только этой штукой, в один миг, нажил несколько миллионов, – вот как люди делают!

– Так вы Ротшильд, что ли? – крикнул он мне с негодованием, как дураку.

Я быстро вышел из дому. Один шаг – и семь рублей девяносто пять копеек нажил! Шаг был бессмысленный, детская игра, я согласен, но он все-таки совпадал с моею мыслью и не мог не взволновать меня чрезвычайно глубоко... Впрочем, нечего чувства описывать. Десятирублевая была в жилетном кармане, я просунул два пальца пощупать – и так и шел не вынимая руки. Отойдя шагов сто по улице, я вынул ее посмотреть, посмотрел и хотел поцеловать. У подъезда дома вдруг прогремела карета; швейцар отворил двери, и из дому вышла садиться в карету дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархате, с двухаршинным хвостом. Вдруг хорошенький маленький портфельчик выскочил у ней из руки и упал на землю; она села; лакей нагнулся поднять вещицу, но я быстро подскочил, поднял и вручил даме, приподняв шляпу. (Шляпа – цилиндр, я был одет, как молодой человек, недурно.) Дама сдержанно, но с приятнейшей улыбкой проговорила мне: «Merci, mсье». Карета загремела. Я поцеловал десятирублевую.

III

Мне в этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимназию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. Сам он не стоит описания, и, собственно, в дружеских отношениях я с ним не был; но в Петербурге его отыскал; он мог (по разным обстоятельствам, о которых говорить тоже не стоит) тотчас же сообщить мне адрес одного Крафта, чрезвычайно нужного мне человека, только что тот вернется из Вильно. Зверев ждал его именно сегодня или завтра, о чем третьего дня дал мне знать. Идти надо было на Петербургскую сторону, но усталости я не чувствовал.

Зверева (ему тоже было лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. Он только что пообедал и ходил по двору на ходулях; тотчас же сообщил мне, что Крафт приехал еще вчера и остановился на прежней квартире, тут же на Петербургской, и что он сам желает как можно скорее меня видеть, чтобы немедленно сообщить нечто нужное.

– Куда-то едет опять, – прибавил Ефим.

Так как видеть Крафта в настоящих обстоятельствах для меня было капитально важно, то я и попросил Ефима тотчас же свести меня к нему на квартиру, которая, оказалось, была в двух шагах, где-то в переулке. Но Зверев объявил, что час тому уж его встретил и что он прошел к Дергачеву.

– Да пойдем к Дергачеву, что ты все отнекиваешься; трусишь?

Действительно, Крафт мог засидеться у Дергачева, и тогда где же мне его ждать? К Дергачеву я не трусил, но идти не хотел, несмотря на то что Ефим тащил меня туда уже третий раз. И при этом «трусишь» всегда произносил с прескверной улыбкой на мой счет. Тут была не трусость, объявляю заранее, а если я боялся, то совсем другого. На этот раз пойти решился; это тоже было в двух шагах. Дорогой я спросил Ефима, все ли еще он держит намерение бежать в Америку?

– Может, и подожду еще, – ответил он с легким смехом.

Я его не так любил, даже не любил вовсе. Он был очень бел волосами, с полным, слишком белым лицом, даже неприлично белым, до детскости, а ростом даже выше меня, но принять его можно было не иначе как за семнадцатилетнего. Говорить с ним было не о чем.

– Да что ж там? неужто всегда толпа? – справился я для основательности.

– Да чего ты все трусишь? – опять засмеялся он.

– Убирайся к черту, – рассердился я.

- Вовсе не толпа. Приходят только знакомые, и уж все свои, будь покоен.
- Да черт ли мне за дело, свои или не свои! Я вот разве там свой? Почему они во мне могут быть уверены?
- Я тебя привел, и довольно. О тебе даже слышали. Крафт тоже может о тебе заявить.
- Слушай, будет там Васин?
- Не знаю.
- Если будет, как только войдем, толкни меня и укажи Васина; только что войдем, слышишь?

Об Васине я уже довольно слышал и давно интересовался.

Дергачев жил в маленьком флигеле, на дворе деревянного дома одной купчихи, но зато флигель занимал весь. Всего было чистых три комнаты. Во всех четырех окнах были спущены шторы. Это был техник и имел в Петербурге занятие; я слышал мельком, что ему выходило одно выгодное частное место в губернии и что он уже отправляется.

Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса; кажется, горячо спорили и кто-то кричал: «*Quae medicamenta non sanant – ferrum sanat, quae ferrum non sanat – ignis sanat!*»³⁰

Я действительно был в некотором беспокойстве. Конечно, я не привык к обществу, даже к какому бы ни было. В гимназии я с товарищами был на ты, но ни с кем почти не был товарищем, я сделал себе угол и жил в углу. Но не это смущало меня. На всякий случай я дал себе слово не входить в споры и говорить только самое необходимое, так чтоб никто не мог обо мне ничего заключить; главное – не спорить.

В комнате, даже слишком небольшой, было человек семь, а с дамами человек десять. Дергачеву было двадцать пять лет, и он был женат. У жены была сестра и еще родственница; они тоже жили у Дергачева. Комната была меблирована кое-как, впрочем достаточно, и даже было чисто. На стене висел литографированный портрет, но очень дешевый, а в углу образ без ризы, но с горевшей лампадкой. Дергачев подошел ко мне, пожал руку и попросил садиться.

– Садитесь, здесь все свои.

– Сделайте одолжение, – прибавила тотчас же довольно миловидная молоденькая женщина, очень скромно одетая, и, слегка поклонившись мне, тотчас же вышла. Это была жена его, и, кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка. Но в комнате оставались еще две дамы – одна очень небольшого роста, лет двадцати, в черном платье и тоже не из дурных, а другая лет тридцати, сухая и востроглазая. Они сидели, очень слушали, но в разговор не вступали.

Что же касается до мужчин, то все были на ногах, а сидели только, кроме меня, Крафт и Васин; их указал мне тотчас же Ефим, потому что я и Крафта видел теперь в первый раз в жизни. Я встал с места и подошел с ним познакомиться. Крафтово лицо я никогда не забуду: никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. Двадцати шести лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое; что-то во всем нем было такое тихое. А между тем спросите, – я бы не променял моего, может быть, даже очень пошлого лица, на его лицо, которое казалось мне так привлекательным. Что-то было такое в его лице, чего бы я не захотел в свое, что-то такое слишком уж спокойное в нравственном смысле, что-то вроде какой-то тайной, себе неведомой гордости. Впрочем, так буквально судить я тогда, вероятно, не мог; это мне теперь кажется, что я тогда так судил, то есть уже после события.

– Очень рад, что вы пришли, – сказал Крафт. – У меня есть одно письмо, до вас относящееся. Мы здесь посидим, а потом пойдем ко мне.

³⁰ «Чего не исцеляют лекарства – исцеляет железо, чего не исцеляет железо – исцеляет огонь!» (лат.)

Дергачев был среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой; во взгляде его видна была сметливость и во всем сдержанность, некоторая непрерывная осторожность; хоть он больше молчал, но очевидно управлял разговором. Физиономия Васина не очень поразила меня, хоть я слышал о нем как о чрезмерно умном: белокурый, с светло-серыми большими глазами, лицо очень открытое, но в то же время в нем что-то было как бы излишне твердое; предчувствовалось мало общительности, но взгляд решительно умный, умнее дергачевского, глубже, – умнее всех в комнате; впрочем, может быть, я теперь все преувеличиваю. Из остальных я припоминаю всего только два лица из всей этой молодежи: одного высокого смуглого человека, с черными бакенами, много говорившего, лет двадцати семи, какого-то учителя или вроде того, и еще молодого парня моих лет, в русской поддевке, – лицо со складкой, молчаливое, из прислушивающихся. Он и оказался потом из крестьян.

– Нет, это не так надо ставить, – начал, очевидно возобновляя давешний спор, учитель с черными бакенами, горячившийся больше всех, – про математические доказательства я ничего не говорю, но это идея, которой я готов верить и без математических доказательств...

– Подожди, Тихомиров, – громко перебил Дергачев, – вошедшие не понимают. Это, видите ли, – вдруг обратился он ко мне одному (и признаюсь, если он имел намерение обэк-заменить во мне новичка или заставить меня говорить, то прием был очень ловкий с его стороны; я тотчас это почувствовал и приготовился), – это, видите ли, вот господин Крафт, довольно уже нам всем известный и характером и солидностью убеждений. Он, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный...

– Третьестепенный, – крикнул кто-то.

– ...второстепенный, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть и справедливого, своего вывода господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки и...

– Позволь, Дергачев, это не так надо ставить, – опять подхватил с нетерпением Тихомиров (Дергачев тотчас же уступил). – Ввиду того, что Крафт сделал серьезные изучения, вывел выводы на основании физиологии, которые признает математическими, и убил, может быть, года два на свою идею (которую я бы принял преспокойно а priori), ввиду этого, то есть ввиду тревог и серьезности Крафта, это дело представляется в виде феномена. Из всего выходит вопрос, который Крафт понимать не может, и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. Надо разрешить, принадлежит ли этот феномен клинике, как единичный случай, или есть свойство, которое может нормально повторяться в других; это интересно в видах уже общего дела. Про Россию я Крафту поверю и даже скажу, что, пожалуй, и рад; если б эта идея была всеми усвоена, то развязала бы руки и освободила многих от патристического предрассудка...

– Я не из патриотизма, – сказал Крафт как бы с какой-то натугой. Все эти дебаты были, кажется, ему неприятны.

– Патриотизм или нет, это можно оставить в стороне, – промолвил Васин, очень молчавший.

– Но чем, скажите, вывод Крафта мог бы ослабить стремление к общечеловеческому делу? – кричал учитель (он один только кричал, все остальные говорили тихо). – Пусть Россия осуждена на второстепенность; но можно работать и не для одной России. И, кроме того, как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить?

– К тому же немец, – послышался опять голос.

– Я – русский, – сказал Крафт.

– Это – вопрос, не относящийся прямо к делу, – заметил Дергачев перебившему.

– Выйдите из узкости вашей идеи, – не слушал ничего Тихомиров. – Если Россия только материал для более благородных племен, то почему же ей и не послужить таким материалом? Это – роль довольно еще благовидная. Почему не успокоиться на этой идее ввиду расширения задачи? Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось. Предстоящую задачу отрицают только слепые. Оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего, – для будущего еще неизвестного народа, но который составит из всего человечества, без разбора племен. И без того Россия умерла бы когда-нибудь; народы, даже самые даровитые, живут всего по полторы, много по две тысячи лет; не все ли тут равно: две тысячи или двести лет? Римляне не прожили и полутора тысяч лет в живом виде и обратились тоже в материал. Их давно нет, но они оставили идею, и она вошла элементом дальнейшего в судьбы человечества. Как же можно сказать человеку, что нечего делать? Я представить не могу положения, чтоб когда-нибудь было нечего делать! Делайте для человечества и об остальном не заботьтесь. Дела так много, что неостанет жизни, если внимательно оглянуться.

– Надо жить по закону природы и правды, – проговорила из-за двери госпожа Дергачева. Дверь была капельку приотворена, и видно было, что она стояла, держа ребенка у груди, с прикрытой грудью, и горячо прислушивалась.

Крафт слушал, слегка улыбаясь, и произнес наконец, как бы с несколько измученным видом, впрочем с сильною искренностью:

– Я не понимаю, как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствующей мысли, которой подчиняются ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли?

– Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того только, что Россия – предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма...

– Э! – тихо махнул рукой Крафт, – я ведь сказал вам, что тут не патриотизм.

– Тут, очевидно, недоумение, – ввязался вдруг Васин. – Ошибка в том, что у Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы; у многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все существо и которое очень трудно изгнать или переделать. Чтоб вылечить такого человека, надо в таком случае изменить самое это чувство, что возможно не иначе как заменив его другим, равносильным. Это всегда трудно, а во многих случаях невозможно.

– Ошибка! – завопил спорщик, – логический вывод уже сам по себе разлагает предрассудки. Разумное убеждение порождает то же чувство. Мысль выходит из чувства и в свою очередь, водворяясь в человеке, формулирует новое!

– Люди очень разнообразны: одни легко переменяют чувства, другие тяжело, – ответил Васин, как бы не желая продолжать спор; но я был в восхищении от его идеи.

– Это именно так, как вы сказали! – обратился я вдруг к нему, разбивая лед и начиная вдруг говорить. – Именно надо вместо чувства вставить другое, чтоб заменить. В Москве, четыре года назад, один генерал... Видите, господа, я его не знал, но... Может быть, он, собственно, и не мог внушать сам по себе уважения... И притом самый факт мог явиться неразумным, но... Впрочем, у него, видите ли, умер ребенок, то есть, в сущности, две девочки, обе одна за другой, в скарлатине... Что ж, он вдруг так был убит, что все грустил, так грустил, что ходит и на него глядеть нельзя, – и кончил тем, что умер, почти после полгода. Что он от этого умер, то это факт! Чем, стало быть, можно было его воскресить? Ответ: равносильным чувством! Надо было выкопать ему из могилы этих двух девочек и дать их – вот и все, то есть в этом роде. Он и умер. А между тем можно бы было представить ему прекрасные выводы: что жизнь скоропостижна, что все смертно, представить из календаря статистику, сколько умирает от скарлатины детей... Он был в отставке...

Я остановился, задыхаясь и оглядываясь кругом.

– Это совсем не то, – проговорил кто-то.

– Приведенный вами факт хоть и неоднороден с данным случаем, но все же похож и поясняет дело, – обратился ко мне Васин.

IV

Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет «идеи-чувства», а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил оттого, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они (то есть они или другие в этом роде – это все равно) – диалектики и, пожалуй, разобьют «мою идею». Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу; но они (то есть опять-таки они или вроде них) могли мне сами сказать что-нибудь, отчего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В «моей идее» были вопросы, мною не разрешенные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокаивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про «идею-чувство»! Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить ее равносильным прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я бы мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя – недостойным ребенком!

Тут и еще вышел стыд. Не гаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание «прыгнуть на шею». Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать или вроде того (словом, свинство), я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало, после всякого такого позора, лишь то, что все-таки «идея» при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот, у Дергачева, с первого почти столкновения не выдержал: ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно; вышел позор. Воспоминание скверное! Нет, мне нельзя жить с людьми; я и теперь это думаю; на сорок лет вперед говорю. Моя идея – угол.

V

Только что Васин меня похвалил, мне вдруг нестерпимо захотелось говорить.

– По-моему, всякий имеет право иметь свои чувства... если по убеждению... с тем, чтоб уж никто его не укорял за них, – обратился я к Васину. Хоть я проговорил и бойко, но точно не я, а во рту точно чужой язык шевелился.

– Бу-удто-с? – тотчас же подхватил и протянул с иронией тот самый голос, который перебивал Дергачева и крикнул Крафту, что он немец.

Считая его полным ничтожеством, я обратился к учителю, как будто это он крикнул мне.

– Мое убеждение, что я никого не смею судить, – дрожал я, уже зная, что полечу.

– Зачем же так секретно? – раздался опять голос ничтожества.

– У всякого своя идея, – смотрел я в упор на учителя, который, напротив, молчал и рассматривал меня с улыбкой.

– У вас? – крикнуло ничтожество.

– Долго рассказывать... А отчасти моя идея именно в том, чтоб оставили меня в покое. Пока у меня есть два рубля, я хочу жить один, ни от кого не зависеть (не беспокойтесь, я знаю возражения) и ничего не делать, – даже для того великого будущего человечества, работать на которого приглашали господина Крафта. Личная свобода, то есть моя собственная-с, на первом плане, а дальше знать ничего не хочу.

Ошибка в том, что я рассердился.

– То есть проповедуете спокойствие сытой коровы?

– Пусть. От коровы не оскорбляются. Я никому ничего не должен, я плачу обществу деньги в виде фискальных поборов за то, чтоб меня не обокрали, не прибили и не убили, а больше никто ничего с меня требовать не смеет. Я, может быть, лично и других идей, и захочу служить человечеству, и буду, и, может быть, в десять раз больше буду, чем все проповедники; но только я хочу, чтобы с меня этого никто *не смел требовать*, заставлять меня, как господина Крафта; моя полная свобода, если я даже и пальца не подыму. А бегать да вешаться всем на шею от любви к человечеству да сгорать слезами умиления – это только мода. Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое в свою очередь истлеет без всякого следа и воспоминания (время тут ничего не значит), когда Земля обратится в свою очередь в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить! Вот ваше учение! Скажите, зачем я непременно должен быть благороден, тем более если все продолжается одну минуту.

– Б-ба! – крикнул голос.

Я выпалил все это нервно и злобно, порвав все веревки. Я знал, что лечу в яму, но я торопился, боясь возражений. Я слишком чувствовал, что сыплю как сквозь решето, бессвязно и через десять мыслей в одиннадцатую, но я торопился их убедить и перепобедить. Это так было для меня важно! Я три года готовился! Но замечательно, что они вдруг замолчали, ровно ничего не говорили, а все слушали. Я все продолжал обращаться к учителю:

– Именно-с. Один чрезвычайно умный человек говорил, между прочим, что нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» Видите ли-с, есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы стыдящиеся, то есть стыдящиеся собственной подлости, но при непременном намерении все-таки ее докончить, и, наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы. Позвольте-с: у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду; а когда им топить будет нечем, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Вот его чувства! Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу на вопрос: «Почему он непременно должен быть благородным?» И особенно теперь, в наше время, которое вы так переделали. Потому что хуже того, что теперь, – никогда не бывало. В нашем обществе совсем неясно, господа. Ведь вы Бога отрицаете, подвиг отрицаете, какая же косность, глухая, слепая, тупая, может заставить меня действовать так, если мне выгоднее иначе? Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего, когда я один только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, –

ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига? Нет-с, если так, то я самым пренебрежительным образом буду жить для себя, а там хоть бы все провалились!

– Превосходное желание!

– Впрочем, я всегда готов вместе.

– Еще лучше! (Это все тот голос.)

Остальные все продолжали молчать, все глядели и меня разглядывали; но мало-помалу с разных концов комнаты началось хихиканье, еще тихое, но все хихикали мне прямо в глаза. Васин и Крафт только не хихикали. С черными бакенами тоже ухмылялся; он в упор смотрел на меня и слушал.

– Господа, – дрожал я весь, – я мою идею вам не скажу ни за что, но я вас, напротив, с вашей же точки спрошу, – не думайте, что с моей, потому что я, может быть, в тысячу раз больше люблю человечество, чем вы все, вместе взятые! Скажите, – и вы уж теперь непременно должны ответить, вы обязаны, потому что смеетесь, – скажите: чем прельстите вы меня, чтоб я шел за вами? Скажите, чем докажете вы мне, что у вас будет лучше? Куда вы денете протест моей личности в вашей казарме? Я давно, господа, желал с вами встретиться! У вас будет казарма, общие квартиры, *stricte nécessaire*,³¹ атеизм и общие жены без детей – вот ваш финал, ведь я знаю-с. И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок и тепло, вы берете взамен всю мою личность! Позвольте-с: у меня там жену уведут; уймете ли вы мою личность, чтоб я не разможил противнику голову? Вы скажете, что я тогда и сам поумнею; но жена-то что скажет о таком разумном муже, если сколько-нибудь себя уважает? Ведь это неестественно-с; постыдитесь!

– А вы по женской части – специалист? – раздался с злорадством голос ничтожества.

Одно мгновение у меня была мысль броситься и начать его тузить кулаками. Это был невысокого роста, рыжеватый и весноватый... да, впрочем, черт бы взял его наружность!

– Успокойтесь, я еще никогда не знал женщины, – отрезал я, в первый раз к нему повертываясь.

– Драгоценное сообщение, которое могло бы быть сделано вежливее, ввиду дам!

Но все вдруг густо зашевелились; все стали разбирать шляпы и хотели идти, – конечно, не из-за меня, а им пришло время; но это молчаливое отношение ко мне раздавило меня стыдом. Я тоже вскочил.

– Позвольте, однако, узнать вашу фамилию, вы все смотрели на меня? – ступил вдруг ко мне учитель с подлейшей улыбкой.

– Долгорукий.

– Князь Долгорукий?

– Нет, просто Долгорукий, сын бывшего крепостного Макара Долгорукого и незаконный сын моего бывшего барина господина Версилова. Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завывали как телята от умиления!

Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся и запищал. Я трепетал от ярости. Все они жали руку Дергачеву и выходили, не обращая на меня никакого внимания.

– Пойдемте, – толкнул меня Крафт.

Я подошел к Дергачеву, изо всех сил сжал ему руку и потряс ее несколько раз тоже изо всей силы.

– Извините, что вас все обижал Кудрямов (это рыжеватый), – сказал мне Дергачев.

Я пошел за Крафтом. Я ничего не стыдился.

³¹ Строго необходимое (*франц.*).

VI

Конечно, между мной теперешним и мной тогдашним – бесконечная разница.

Продолжая «ничего не стыдиться», я еще на лесенке нагнал Васина, отстав от Крафта, как от второстепенности, и с самым натуральным видом, точно ничего не случилось, спросил:

– Вы, кажется, изволите знать моего отца, то есть я хочу сказать Версилова?

– Я, собственно, не знаком, – тотчас ответил Васин (и без малейшей той обидной утонченной вежливости, которую берут на себя люди деликатные, говоря с тотчас же осрамившимся), – но я несколько его знаю; встречался и слушал его.

– Коли слушали, так, конечно, знаете, потому что вы – вы! Как вы о нем думаете? Простите за скорый вопрос, но мне нужно. Именно как *вы* бы думали, собственно *ваше* мнение необходимо.

– Вы с меня много спрашиваете. Мне кажется, этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, – но отчету никому не отдающий.

– Это верно, это очень верно, это – очень гордый человек! Но чистый ли это человек? Послушайте, что вы думаете о его католичестве? Впрочем, я забыл, что вы, может быть, не знаете...

Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым никогда не говорил, а только о нем слышал. Меня удивляло, что Васин как бы не замечал моего сумасшествия!

– Я слышал что-то и об этом, но не знаю, насколько это могло бы быть верно, – по-прежнему спокойно и ровно ответил он.

– Ничуть! это про него неправду! Неужели вы думаете, что он может верить в Бога?

– Это – очень гордый человек, как вы сейчас сами сказали, а многие из очень гордых людей любят верить в Бога, особенно несколько презирающие людей. У многих сильных людей есть, кажется, натуральная какая-то потребность – найти кого-нибудь или что-нибудь, перед чем преклониться. Сильному человеку иногда очень трудно переносить свою силу.

– Послушайте, это, должно быть, ужасно верно! – вскричал я опять. – Только я бы желал понять...

– Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед людьми, – разумеется, сами не ведая, как это в них делается: преклониться пред Богом не так обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие – вернее сказать, горячо желающие верить; но желания они принимают за самую веру. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающиеся. Про господина Версилова я думаю, что в нем есть и чрезвычайно искренние черты характера. И вообще он меня заинтересовал.

– Васин! – вскричал я, – вы меня радуете! Я не уму вашему удивляюсь, я удивляюсь тому, как можете вы, человек столь чистый и так безмерно надо мной стоящий, – как можете вы со мной идти и говорить так просто и вежливо, как будто ничего не случилось!

Васин улыбнулся.

– Вы уж слишком меня хвалите, а случилось там только то, что вы слишком любите отвлеченные разговоры. Вы, вероятно, очень долго перед этим молчали.

– Я три года молчал, я три года говорить готовился... Дураком я вам, разумеется, показаться не мог, потому что вы сами чрезвычайно умны, хотя глупее меня вести себя невозможно, но подлецом!

– Подлецом?

– Да, несомненно! Скажите, не презираете вы меня втайне за то, что я сказал, что я незаконнорожденный Версилова... и похвалился, что сын дворового?

– Вы слишком себя мучите. Если находите, что сказали дурно, то стоит только не говорить в другой раз; вам еще пятьдесят лет впереди.

– О, я знаю, что мне надо быть очень молчаливым с людьми. Самый подлый из всех развратов – это вешаться на шею; я сейчас это им сказал, и вот я и вам вешаюсь! Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли эту разницу, если способны были понять, то я благословлю эту минуту!

Васин опять улыбнулся.

– Приходите ко мне, если захотите, – сказал он. – Я имею теперь работу и занят, но вы сделаете мне удовольствие.

– Я заключил об вас давеча, по физиономии, что вы излишне тверды и несообщительны.

– Это очень может быть верно. Я знал вашу сестру, Лизавету Макаровну, прошлого года, в Луге... Крафт остановился и, кажется, вас ждет; ему поворачивать.

Я крепко пожал руку Васиного и добежал до Крафта, который все шел впереди, пока я говорил с Васиным. Мы молча дошли до его квартиры; я не хотел еще и не мог говорить с ним. В характере Крафта одною из сильнейших черт была деликатность.

Глава четвертая

I

Крафт прежде где-то служил, а вместе с тем и помогал покойному Андроникову (за вознаграждение от него) в ведении иных частных дел, которыми тот постоянно занимался сверх своей службы. Для меня важно было уже то, что Крафту, вследствие особенной близости его с Андрониковым, могло быть многое известно из того, что так интересовало меня. Но я знал от Марьи Ивановны, жены Николая Семеновича, у которого я прожил столько лет, когда ходил в гимназию, – и которая была родной племянницей, воспитанницей и любимицей Андроникова, что Крафту даже «поручено» передать мне нечто. Я уже ждал его целый месяц.

Он жил в маленькой квартире, в две комнаты, совершенным особняком, а в настоящую минуту, только что воротившись, был даже и без прислуги. Чемодан был хоть и раскрыт, но не убран, вещи валялись на стульях, а на столе, перед диваном, разложены были: саквояж, дорожная шкатулка, револьвер и проч. Войдя, Крафт был в чрезвычайной задумчивости, как бы забыв обо мне вовсе; он, может быть, и не заметил, что я с ним не разговаривал дорогой. Он тотчас же что-то принялся искать, но, взглянув мимоходом в зеркало, остановился и целую минуту пристально рассматривал свое лицо. Я хоть и заметил эту особенность (а потом слишком все припомнил), но я был грустен и очень смущен. Я был не в силах сосредоточиться. Одно мгновение мне вдруг захотелось взять и уйти и так оставить все дела навсегда. Да и что такое были все эти дела в сущности? Не одной ли напускной на себя заботой? Я приходил в отчаяние, что трачу мою энергию, может быть, на недостойные пустяки из одной чувствительности, тогда как сам имею перед собой энергическую задачу. А между тем неспособность моя к серьезному делу очевидно обозначалась, ввиду того, что случилось у Дергачева.

– Крафт, вы к ним и еще пойдете? – вдруг спросил я его. Он медленно обернулся ко мне, как бы плохо понимая меня. Я сел на стул.

– Простите их! – сказал вдруг Крафт.

Мне, конечно, показалось, что это насмешка; но, взглянув пристально, я увидел в лице его такое странное и даже удивительное простодушие, что мне даже самому удивительно стало, как это он так серьезно попросил меня их «простить». Он поставил стул и сел подле меня.

– Я сам знаю, что я, может быть, сброд всех самолюбий и больше ничего, – начал я, – но не прошу прощения.

– Да и совсем не у кого, – проговорил он тихо и серьезно. Он все время говорил тихо и очень медленно.

– Пусть я буду виноват перед собой... Я люблю быть виновным перед собой... Крафт, простите, что я у вас вру. Скажите, неужели вы тоже в этом кружке? Я вот об чем хотел спросить.

– Они не глупее других и не умнее; они – помешанные, как все.

– Разве все – помешанные? – повернулся я к нему с невольным любопытством.

– Из людей получше теперь все – помешанные. Сильно кутит одна середина и бездарность... Впрочем, это все не стоит.

Говоря, он смотрел как-то в воздух, начинал фразы и обрывал их. Особенно поражало какое-то уныние в его голосе.

– Неужели и Васин с ними? В Васине – ум, в Васине – нравственная идея! – вскричал я.

– Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не было.

– Прежде не было?

– Лучше оставим это, – проговорил он с явным утомлением.

Меня тронула его горестная серьезность. Устыдясь своего эгоизма, я стал входить в его тон.

– Нынешнее время, – начал он сам, помолчав минуты две и все смотря куда-то в воздух, – нынешнее время – это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Никто не задумывается; редко кто выжил бы себе идею.

Он опять оборвал и помолчал немного; я слушал.

– Нынче безлесья Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и приготавливают ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них достало...

– Позвольте, Крафт, вы сказали: «Заботятся о том, что будет через тысячу лет». Ну а ваше отчаяние... про участь России... разве это не в том же роде забота?

– Это... это – самый насущный вопрос, который только есть! – раздражительно проговорил он и быстро встал с места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.